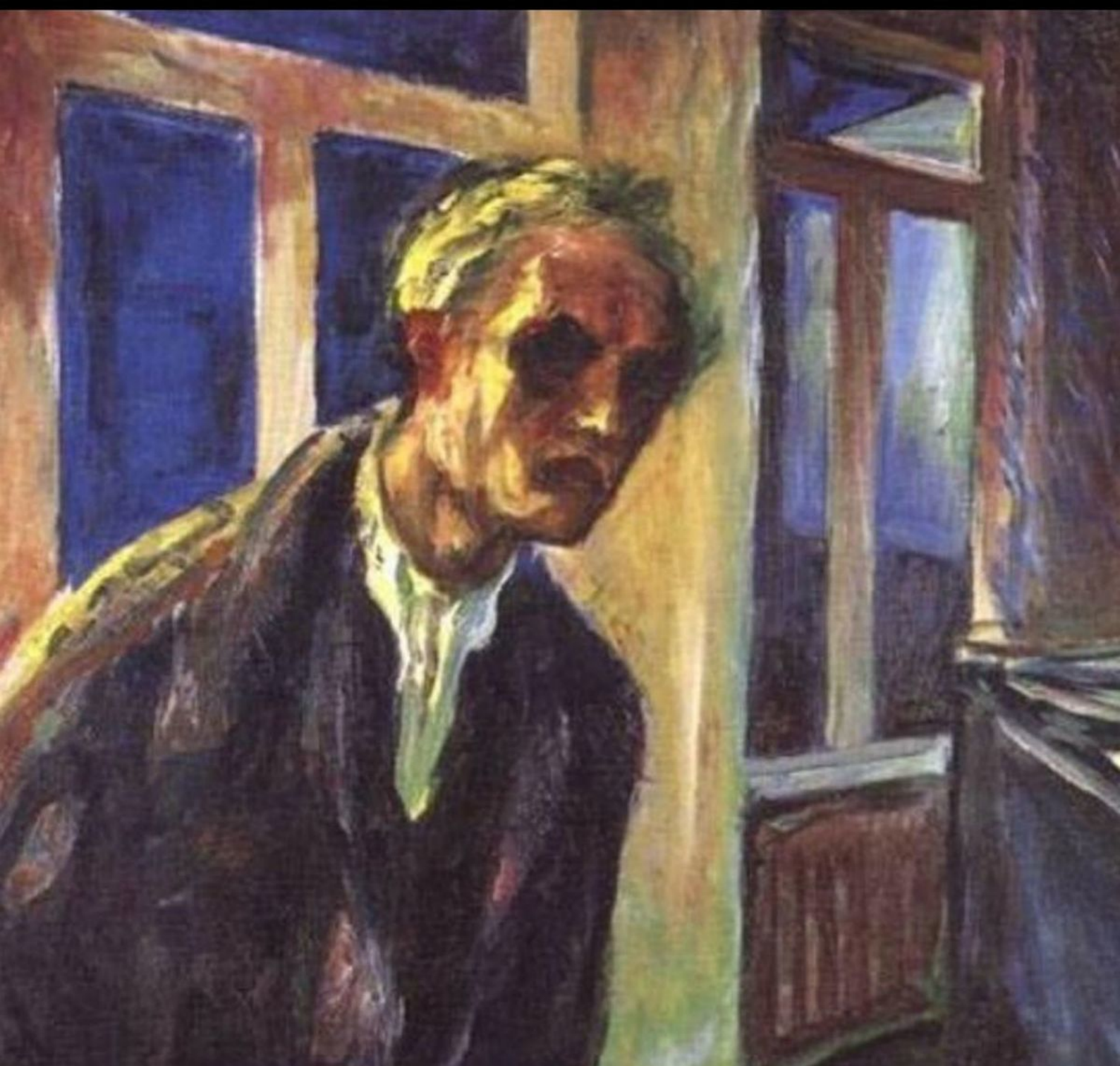


МИХАИЛ ЛУКИН

**...И вечно
радуется ночь**



Михаил Лукин

...И вечно радуется ночь

«Издательские решения»

Лукин М.

...И вечно радуется ночь / М. Лукин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834889-1

Грань жизни и смерти — слабая бечёвка над бездной... И человек на ней — одинокий канатоходец обострёнными чувствами, сознанием, угасающим под гнётом неизлечимого недуга, пытается, смиряясь с образами минувшего, балансировать. Одиночество в толпе, тишина в суматохе дней, неистовство в покое, и безумие... Закономерным итогом всему. Окончательным ли итогом?

ISBN 978-5-44-834889-1

© Лукин М.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
Часть первая	8
I	8
II	19
III	35
IV	47
V	60
Конец ознакомительного фрагмента.	79

...И вечно радуется ночь

Михаил Лукин

Иллюстрация на обложке «Ночной странник» Эдвард Мунк

© Михаил Лукин, 2019

ISBN 978-5-4483-4889-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Любимой супруге Леночке,
слабость мою обратившей в силу
и ставшей моею слабостью...*

*Им говорили: «вот – покой,
дайте покой утружденному,
и вот упокоение».*

Но они не хотели слушать.

Книга пророка Исайи 28:12

*Два слова здесь, в горах,
табу – болезнь и смерть.*

*Одно из них слишком старомодное,
другое – слишком само собой разумеющееся.*

Ремарк. Жизнь взаимы.

Вступление

«...Учитывая все вышеозначенные обстоятельства – как то: общественная значимость, а равно показания свидетелей под присягой, заключения медицинских комиссий, ходатайств родственников и т. д. – Суд постановил: именем Его Королевского Величества Хокона, короля норвежцев, подданного его, господина Миккеля Лёкка, считать недееспособным.

...Располагаемое им движимое и недвижимое имущество (если оное имеется, не обременено долгами и не является выморочным), сиречь дома, земельные участки, счета в банках, облигации государственных и частных компаний, авторские и смежные права и проч. передать под управление взявшим над господином Лёкком опекунство родственникам. Ввиду возможной исходящей от господина Лёкка опасности для общества (подтверждённой медицинскими заключениями, показаниями свидетелей), и необходимости медицинского за ним ухода, поместить вышеозначенного господина Лёкка, кроме опеки родственников и назначенного судом врача, имеющего аккредитацию и согласованного государственной медицинской комиссией, перед коей должен он нести отчёт, в таковое место, которое они по согласию посчитают приемлемым для комфортного и безопасного пребывания господина Лёкка.

Во славу Господа нашего Иисуса Христа, именем Хокона, короля норвежцев!

12 января 1935 года».

«...В связи с готовящимся осенью к печати собранием сочинений Миккеля Лёкка, издательство „Северная Звезда“ в Осло отдельной брошюрой планирует к выпуску и биографию писателя, что, наполненная слухами и домыслами, сама по себе может быть предметом писательского интереса».

«Почему?»

«Дело в том, что полная биография Миккеля Лёкка никогда не выпускалась и основана на отрывочных сведениях, таинственности, которую отчасти исходит от него самого. В своё время это поспособствовало ему взлететь на скандинавский литературный Олимп, так что я полагаю, что это всё было спланировано».

«Ходили слухи, что Миккель Лёкк – русский...»

«Вот именно! Слухи – о чём мы и говорим! Положим, он и впрямь русский, даже скорее всего – зачем нагонять вокруг этого туману? Когда-то, сообщают, он давал интервью каким-то американцам или японцам, но всё это кажется до того шитым белыми нитками, что вызывает оторопь. Говорят также, его видели на Суде, который объявил его недееспособным, на слушаниях и прениях сторон, но опять же, опять же... Всё подёрнуто дымом, туманом – кто-то, где-то, когда-то...».

«То есть достоверных сведений на этот счёт у вас нет...»

«Исключительно домыслы, как и у всех... Впрочем связи в издательском мире дают мне основания так утверждать».

«Так кто же такой этот Миккель Лёкк?»

«Миф! Запишите большими буквами красной строкой – МИФ! Ни обездоленный гонимый русский эмигрант, ни эксцентричный миллионер, ни лидер подпольной террористической организации... Миф. Я сам видел нескольких господ совершенно разной наружности, утверждавших, будто они и есть – Миккель Лёкк, по ту и по эту сторону скандинавских гор, но был ли среди них сам Миккель Лёкк – совершенно неясно. Покажите мне хоть бы документы, хоть паспорт, хоть фотокарточку с подписью – ничего же нет! Поймите, такие мифы

удобны – не нужно отвечать за сказанное – и выгодны – на тайне денег сделать, при разумном подходе, можно куда больше!»

«Итак, миф?»

«Миф!»

Из интервью Акселя Нурстрёма, литературного критика.
Дагбладет, Осло, 2 апреля 1935 года.

«В связи с переездом хозяев, продаётся дом в районе Старого Города, подле Немецкой Церкви, исторической постройки конца 18-го века. Три этажа, третий – мансардный, чердак, подвал. Всего восемь комнат, с гостиной, столовой, библиотекой. Фешенебельный спокойный район, прекрасный вид на Королевский Дворец с одной стороны, и море – с другой. Коммулятор: 291—084. Г-жа Хлоя Каролина Лёкк».

Афтонбладет, Стокгольм, раздел объявлений и предложений
10 апреля, 1935 года.

«...Знаете, что есть такое Радость?

Солнечный лучик, играющий в волосах, невесомое гагачье пёрышко, вкус сладости во рту, ощущение бесконечности, бросающееся в глаза...

А ещё, нескончаемое откровение дышащих лесов, свежесть гор, прохлада рек в тени дубрав, и бездонно синее небо над головой. А ещё... отсутствие боли – от жизни ли, от души, от ран и болезней – отсутствие тьмы, и свет, великолепный свет кругом!

Бросьтесь же в Радость, бросьтесь же в свет, врачующий сердца, и души оборачивающий к доброте от озлобленности!».

Рекламный проспект пансионата «Вечная Радость».
Нурланн, Норвегия.

Часть первая

I

Шум в коридорах стихает, ушли...

Долго расхаживали харкающими картавыми походками, икая коленными чашечками, хрипя позвоночником, туда-сюда, взад-вперёд; и вот явились сиделки, рабочие пчёлки, взяли в охапку, развели, рассовали по ячейкам-апартаментам – никто не помер, не продемонстрировал тенденций к ухудшению, но и улучшениями не похвастался также. Ныне, в мешковинах полосатых (в горошек, в цветочек, в клеточку...) пижам, в натянутых на уши колпаках, смущаясь прильнуть к пышущим жаром изразцам, трясутся по комнатам, каждый в персональной, у кого лучше, у кого – похуже, сообразно представлениям о собственной значимости, сторонней благой воле, и, разумеется, приобретённым плацкартам. Кто-то вяло крутит «велосипед»; иной сжимает ладонью упругий каучуковый диск, либо старается докоснуться пальцем кончика носа; а кто-то... разом, обречённо, не балуясь излишним рвением, падает, захлёбывается в мутном забытье сгустившейся ночи. Ведь мочевого пузыря пуст, лёгок кишечник, дыхание свободно от мокроты – нужно ли ещё что-то!? – делай или не делай «велосипеда», скачи или не скачи на одной ноге, припоминай или нет о сущем на небесах Отце... Проглочены таблетки, запиты микстурами, иглы уверенно прободили рыхлые вены, давление галопом устремляется к норме; смоченная в уксусе губка у рта и вот... мнимы, надуманны хвори, никаких голов в ушах, ни малейших причин для переживаний... Сон, умиротворенный или не очень... Дрёма!

А ты, человек, что ж? Не спишь?!

Увы! Отчего – и сам не знаю...

Размышляю – вероятно, именно это не даёт отчуждения, а сон волнующе слаб, чтоб проломить стену глубокомысленного бессилия, а... вероятно, я не должен спать вовсе. Бессонница – стезя творцов! Прежде лишь ночь была мне сестрой, и лишь тьма – отрадой, утром же впадал в иступление, будто иссечённый осколками взорвавшего воздух рассвета. И тогда истекал кровью я, и, трепеща, молился о скором вечере, и он приходил... как спасение, как неоскудевающая длань... Но тогда день, отчего-то, был гораздо короче... Или же мне это лишь казалось?

Теперь всё иначе.

И день бесконечен, и яркий, ослепителен свет – мириады сияющих кинжалов так и вонзаются в зрачки – и пространства растянуты донельзя, хотя... весь мир без труда умещается в портсигаре. Всё встало с ног на голову: возможно соснуть иногда, но происходит это, порой, в малоподходящую пору – аккуратно за обедом на полный желудок или ближе к вечеру – и имеет вид забытья, падения. И вот, вялый, отрешённый и совершенно разбитый с утра, к обеду я кое-как склеиваю осколки от себя в единое целое, и всё для того, чтобы вновь расползтись, разбиться вдребезги к вечеру. Нет, я не сплю теперь... И это вразрез с Правилами! Бессонница побуждает чуть ли не стыдиться присутствия здесь: видишь ли, когда лоснящиеся стены трескаются от храпа насельников, неспящему поневоле неудобно, что он – белая ворона, или что-то вроде, такой-сякой, не спит. «Что ты здесь?! – отчаянный шёпот в темноту. – Как можешь ты быть здесь, ты, само существование чьё в этих стенах незаконно?!». Которую ночь пытаюсь спугнуть бессонницу Правилами, и это похоже на битву со старыми добрыми ветряными мельницами, однако, нужно же мне хоть чем-то занимать время – отчего не этим?

А законно ли пребывание моё в этой жизни? Кто скажет...

А они спят, как дети, поднимают простынки сопением – человек возвращается к тому, с чего начал, к младенчеству. «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю...». И далее – сон, сон!

У нас есть Правила...

Множество неписаных законов, их лучше придерживаться себе во благо – все это знают, все показывают дисциплину, из кожи вон лезут. Хорошо ведёшь себя – получишь похвалу, дружеский хлопок по плечу, имя паиньки, и сухарики добавкой к ужину. Пусть, пусть не сыскаешь зубов во рту – любую твёрдую пищу вполне себе можно просто посасывать; из любого положения есть выход, важно не стоять на месте, не коснеть.

Что тут за Правила?

Ах, всякие – ненавязчивые, вполне себе так разумные, на первый взгляд, и глупые, абсурдные и не очень...

Порой можно делать одно в своей комнате, а в коридоре уже нельзя, порой можно проявить забывчивость там, где она нужна, и это не возбраняется, там же, где, она не нужна, она наказуема. Вздумалось петь, так делай это тихо, будь добр, хоть бы и мычи себе под нос. Больно тебе, и ты заходишься криком и стонами, то изволь перво-наперво подумать о том, что кому-то подле тебя хорошо, а ты ему помеха, изволь подумать о ближнем, и когда вздумается тому испустить дух, он сделает это кротко, как овечка, так что ты ничего и не узнаешь, и спокойствие твоё не нарушится. Раскладывая пасьянсы, не передёргивай – это против правил, это и против хорошего тона, смекалка – удел убогих, признак того, что ты ещё на что-то надеешься. Пасьянс не выходит без жульничества, хоть ты тресни? Тоже мне беда – выкладывай всё равно, пока не лопнешь, зато скука минует тебя стороной, и лишь мягкая злость, растворённая в инъекции чего-либо, будет пульсировать в твоих артериях; такая злость не повод полагать, будто ты уже в раю. Занедужилось – болей, не вздумай сачковать, лежи себе в койке, обложенный грелками, кашляй и чихай; уходя – уходи, не озирайся, не забирай никого с собой, не показывай пути – авось, не будет на твоей душе никакого лишнего греха. Почитай Утешителя своего, люби его, не перечь, и будь уверен в его мудрости, ведай – Он всегда знает лучше тебя. Прими это, всё легко и просто!

Что ещё?

Мы не ходим друг другу в гости... Сиделки развели по комнатам; взбита перина, поцелуй в лоб – и всё! – койка да судно – единственные друзья, хочешь – разговаривай, жалуйся на судьбу, ничего иного не будет. Почесать языком, раскинуть картишки, партия в шахматы... – в столовой, после приёма пищи, в строго отведённое для этого время; в коридорах и комнатах – мёртвая зона, словно бы сами стены не выносят стариковского брюзжания. А о том, чтобы бутылочку другую... в приятной компании – и речи нет.

Больше всего умиления в неприятии недугов, слабостей. Шутки в сторону, господа, все мы здоровы, сильны и бодры, плохой крови в жилах – не сыскаешь, а если у нас невзначай трясутся руки, то это с лёгкостью объяснимо, – чем бы вы думали? – дурным настроением. И впрямь, тремор – вернейший признак глубокого упадка духа, мы это всегда знали, только забыли в одночасье, а головная боль... О, головной болью объяснимо излишнее, порою, глубокомыслие: во многом из того, что мучает нас, уже нам нет необходимости, так к чему забивать себе голову какими-то давным-давно ненужными проблемами. Наше спасение в отрешении от них, в забвении – панацея! И голова трясётся, бывает, не руки? Так это, в самом деле, едва ли не полезно, в свою очередь: разжижается кровь, разгоняется по артериям, неся по всем закоулочкам дряхлого тела живительный кислород. Трясётся голова – пусть трясётся дальше, нет нужды в беспокойстве! И как результат, глядишь – разум полон идей, свеж, бодр...

Вот, во всём нужно видеть только хорошее, это не пожелание, и никакая не вероятность, это – правило, закон! Думай, как у тебя всё хорошо, иначе ты – враг, иначе – персона *non grata*, нежелательная личность, отвергнутая обществом, противная ему; будь со всеми или же не будь вовсе.

Нет, не нужно посыпать голову пеплом, уныние – смертный грех, это ни к чему. Мы поможем тебе, мы сделаем так, чтобы ты был счастлив вне зависимости от того, чувствуешь ли ты себя бессмертным, как в юности, впервые ощутив прилив любовных томлений, либо нет. Мы покажем тебе, как нужно соблюдать Правила, и быть счастливым; для этого нужно всего ничего – доверие. Всё на доверии, никто никому не заглядывает в рот, не проверяет, проглочены ли таблетки – удивительно, но факт. Это обезоруживает, атрофирует осторожность, механизмирует жизненные процессы, мысль не проглатывать таблетки куда-то тут же исчезает, и ты их глотаешь, и у тебя всё хорошо. Вот, уже не враг, паинька, такой же, как все, лежишь себе полёживаешь в тёплой постельке, глядишь в окно; тихо шепчет дождь что-то, скрипя по стеклу, а ты слушаешь и, видимо, доволен...

Что за чудесные Правила, думаешь ты.

Тсс...

Нырять в сумерки, бросаюсь холодным камнем взгляда – кто здесь?! Таится кто в равнодушно-тусклом беспокойстве свечи, кто молится на постылую серую тень? Ни души...

...И враз кругом голова: Боже, Боже, безумие, паранойя... Есть ли в том, что живописую, общее с действительностью, либо же иллюзия всё – и общество, и Правила, и шпионки-сиделки, и Утешитель с каменными скрижалями Святых Истин и Тайн?.. О, видел бы он, Утешитель – талант, умница! – нацарапанное в потёмках выхолощенных нервов, высказанное и невысказанное за дурманом жизненного лихолетья! Опорочить, унижить, распять – цель; из вредности, из мрачного стремления отравить ему существование, так же, как отравлено моё, возмездием за собственное здесь пребывание... Несчастный непогрешимый Утешитель, Гиппократ, Галён! За иных – за дочь мою, за Издательство, за Королевское правосудие... – принужден расплачиваться, и, возможно, страдать... А, может быть...

Может быть, и нет...

...Это истинно!

Истинно?! Ха-ха! Что истинно, что?

Боль – сие единственная истина здесь, средоточие, центр Вселенной, мера весов, небосклон, где, ликуя, шествуют победоносно Светила! Товарка моя-боль, вековая, непреходящая, неизбывная, БОЛЬ – кто знает, откуда взялась она?! Дышащая дольше всех прочих чувств и мыслей, именно она – вечная, весталка, поддерживающая неугасимое пламя, пророчащая грядущее пифия, а вовсе не щемящая докторова Радость. Мне больно, и мне не легче – всё только хуже, день ото дня, с каждым новым вздохом, с каждой новой мыслью... только хуже.

Вот, сейчас поднимусь – со мной вместе поднимется и она, боль, и воспрянет, и возрадуется! Обычное дело! Имеет ли значение это? Просто поднимусь... всё одно, не обращаясь ни к чему, skleю себя по кирпичику, скрипя, изнывая, возьму в руки и восстану, разгоню по сосудам занемогшую кровь, и... всё на самотёк! Всё! Думаю, может ли быть хуже, может ли быть злее, ненавистнее, больнее, а приходит новый день, и на тебе... предел двигается куда-то к линии горизонта, а то и вовсе теряется за ней. Но жернова перетирают и это: есть, всё-таки, нечто успокаивающее – с недавних пор этим стали тьма и ненависть; тьма – природным состоянием души, ненависть – к себе и собственному ничтожеству, почти что тождественному ничтожеству всеобщему.

Почти что...

Свеча начинает выгорать, свеча трепещет, ещё немного и... Помочь? Пусть случится всё естественно; губить до срока огонь – невообразимо! Слабый, ничтожный, и почти ничего не освещает – ему и так недолго! – разве что он ещё не пресытился жизнью...

Вот, первые волны боли схлынули, отступаю во тьму, – шаг, другой, третий – не заплутать бы! – крадучись к кремовому пятну постели. Нашупываю впотьмах, укладываюсь. Тишина!

...И разродилось томительное время облегчением, не сном! Сна можно не чаять и призывать его – тщета, сон – сокровище, являющийся редким, но неожиданным гостем, а если и являющийся, то раскатистый, цветастый, обильный событиями или воспоминаниями. Надежда на сон есть всегда – пусть небольшая, но я рад и малому. И, радуясь искренне безмолвно, лежу просто так, с широко открытыми глазами в вязком месиве тьмы.

Поздняя осень. Ноябрь. Вечер – единственный в своём роде, и один из многих.

Праздник отгремел, отзвучали фанфары, захлебнулся барабан... праздником и до сих пор насыщен воздух. Имя – звучнее не выдумать! – «Родительский день»; но это дань традиции, а вот за ним – бездна пустоты, небытие...

И являются-то к нам, видите ли, вовсе и не родители, а дети, внуки, и прочие крохотные и не очень листики фамильного древа, раскидистого и цветущего, или же, вот как у меня, иссохшего, едва живого, в основание которого, самым стволом – мы. Мы, беззлобные, даже не отчаявшиеся уже, едва живые, с утраченным состоянием, украденными чувствами, и человеческим обликом... И они ещё что-то хотят от нас, помимо того, что уже забрали! Что же?

Почва, хоть с толикой питательных свойств, слишком ценная на этих камнях! Древо должно расти, плодоносить... Вот и даём мы пищу сему растущему дереву, вознесемуся уж до самых небес, закрывающему нам окончательно солнечный свет – мы, лишённый почти всего прах. Необходимость... неизбежность!

Но тебе-то тебе... грех серчать, одинокому в «знаменательный день»! Никто не пил крови твоей, не вгрызлся в плоть, и был ты один-одинёшенек – лучше не придумаешь! И уповать на забвение – крамола вдвойне: пусть не приехала Хлоя, не выбила пыли с родительских морщин, не обнадёжила счастливыми знаменами будущности, но письмо явлено взамен – вот оно, ласково шелестит в ладони – а это почти что явление собственной персоной. Пусть леденит, порой кусается – пусть! – но... это ведь Хлоино письмо, грешная частичка её самой и всех её надежд, которые, видимо, и твои также. Надежд, да! А ведь и ты полон их, разбух в уповании, и коротаешь убогие деньки в исчислении часов, минут и секунд до обновления жизни – скоро, скоро всё случится, только жди. И ты ждёшь, ждёшь, ждёшь...

...И окончен, доигравшись в бесконечность, день, и шум с ним, навязчивый гомон крохотных и больших насекомых, шуршанье, стрёкот, свист. Насекомые расползлись, полакомившись «овощами», им не возвращаться ещё добрый месяц – слава Богу! «Уух!» – так и стонет тишина, того и гляди она разрыдается.

Лежу на кровати, почти в крошечной темноте, с открытыми глазами, на мерзкой дребезжащей кровати, где, кажется, каждый винтик и каждая маленькая пружинка ополчились на меня, демонически урча, хохоча и повизгивая с каждым движением тела. Перина мягка до тошноты – едва не проваливаюсь, если лежу посерединке, так что приходится двигаться к краю, с чём риск и вовсе слететь с неё во сне возрастает стократ: семь бед – один ответ. Не оттого ли редко случается выспаться, даже если широко улыбается удача и приходит сон?

...И любая незначительная вещь задевает...

На письменном столе в глубине – тусклый стеариновый огарок; на последнем издыхании, а умереть... – никак. Поразительная жажда жизни! Редко у кого из людей просыпается

такая, а у меня её нет и вовсе. Свеча оплавляется на ворох исписанной мною бумаги, заливают горячим воском мысли, они становятся скользкими, жирными, они погребены под многодневным слоем пыли и сигарного пепла, который никто не убирает. Отчего? Спрашиваю Фриду, а ответом? О, примечательная пантомима: сухонькие ладошки кверху, пальцы растопырены и чуть согнуты в фалангах, руки, опущенные вдоль тела, едва-едва поднимаются и, глядь, расходятся уж в стороны... Замечательное действие – разведение рук, нет ничего проще, к чёрту слова, взгляды, развёл руки в стороны и баста, понимай, как пожелаешь. «Прибирались вчера, и вновь насорено...». Или: «Что ж за многодневный слой! Ему и дня-то нет...». Так, кажется? Многозначительность безмолвия, чёрт бы её побрал! Но что-то не припомню, чтобы у меня убрались вчера...

– Фрида! Отчего у меня перестали убираться?

Сутулые плечи – резко и равнодушно вверх... Ещё одно замечательное действие, лучше не придумать!

Потешная злоба захлёстывает, наливаюсь кровью, исхожу ядом:

– Тогда не заходи ко мне совсем! Слышишь?! И никто пусть не заходит – не нужно никого мне! Замуруйте дверь, заложите камнями, засыпьте песком – делов-то! – оставьте окошко лишь для хлеба, воды, новостей и колкостей.

Небрежно-снисходительный взгляд водянистых рыбьих глаз... и только.

Фрида и не делает ничего эдакого, только носит таблетки, воду для умывания в тазу, кофе, растапливает изразец, заглядывает в горшок, да вот так разводит руками, порой с ещё более многозначительным пожиманием плеч – это её забота, предназначение, смысл бытия, даром, что она при мне сиделка. Словом, плечи ходят вверх-вниз, а я всё гляжу на нее, и кажется мне, она только и рождена для этого, и её даже не научили разговаривать.

Но легонький толчок, будто некто пробует – заперто ли? – и вдруг... с тихоньким скрипом нараспашку дверь, серый проём хищно скалит зубы и, шипя, выпускает язык... Чудеснейший прокуренный воздух комнаты разбавлен едким запахом некоей местной примочки, чем-то спиртосодержащим, аж до рези в глазах. Обход – не поздновато ли? Постой-ка, но ведь Фрида, если мне это не привиделось, уже была! Соскучилась, бедняжка, хе-хе?.. Ну, что уж тут, проходи, проходи, милости прошу...

Но мелькающий в расселине двери силуэт не побуждает ни к чему, – ни к любопытству, ни к ненависти, – переворачиваюсь на бок глазами к стене, и ковыряю ногтем краску от скуки. Издеваться и подшучивать над сиделкой не доставляет волнения больше, нежели, мысль об умершем воробушке, преисполненный стойкого равнодушия, я больше не испытываю к Фриде даже предубеждения и уж точно не желаю восставать на её общество – есть она, и хорошо, нет – тоже ничего. Все движения однообразны – сначала топтание в предбаннике, шуршание сухонькой ладошкой по стене, а далее... Далее выкладываются на стол вода и таблетки, или что там имеется на подносе, и, если не выкажет насельник какого-либо особого пожелания, и горшок его пуст, с фривольной фрикцией плеч разводятся руки, и столь же неторопливо покидается комната. Надоедает ли ей самой от века делать одно и то же, пусть и не в попытках? Кто её знает, что ей надоедает, а что нет? Кто знает, что чувствует она, способна ли к чувствам вообще?!

Фрида...

– Входи, Фрида, добро пожаловать, – не оборачиваюсь, – прочь смущение, чувствуй себя, как дома. Хотя это и помимо того твой очаг! Признайся, ведь ты живёшь прямо здесь, у меня под кроватью, верно? То-то слышатся оттуда изо дня в день дыхание, шорохи. Но, хоть убей, не возьму в толк, как проникаешь ты туда невиданной-непуганной? Раскрой секрет: сжимаешься ты, растягиваешься, или складываешься пополам? Что это ты сопишь там, Фрида, я давно понял, но как, каким образом?! Выбирайся как-нибудь посреди ночи, дорогая, не страшись – видишь ли, я маюсь бессонницей, и простой разговор, порой, даром что и с тобой, может

быть спасением. Да, посреди этой вечной ночи! Ничего особенного: расслабимся – в ногах нет правды! – поцадим, разопьем виски в прикуску с лёгкой малозначительной беседой как в обычае у людей благородных. Сможешь ведь ты хоть парочку слов выдавить из себя, хоть два-три словечка – о, знаешь ли, в свете невежливым считается отвечать молчанием на вопросы и не отвечать действиями на действия? Они все там ходят и раскланиваются друг с другом, хоть бы и терпеть друг друга не могут – всё это за глаза – иначе нельзя, иначе это невежливо, неблагородно, вот как. Представь себе, будто здесь светский раут, Фрида, и для тебя всё разом прояснится – тебе легко и просто будет исполнить мою просьбу, и всего лишь поговорить со мной, вежливостью ответить на вежливость... Ты куришь сигары, Фрида? Нет? Ах, ты только носишь судна и утки за старичьём, ты молчишь и молча свысока презираешь нас. Но разве ты не отдыхаешь никогда? Кто же тогда вздыхает под кроватью?

Кошачьи невесомые шаги по комнате... Смолкаю со своим вздором, придерживаю слабое дыхание, сглатываю слюну – иначе не разобрать. Чудеса! И половица-то не скрипнет! С каких это пор Фрида перестала громыхать, как слон, с каких пор явление её, внезапное и ожидаемое, не сопровождается ударной волной и возмущениями звука?

И всё ж таки, она это, Фрида – кто может быть помимо?! – здесь... Лёгким дуновеньем подбирается к окну, затем обращается к столу – бумаги мои шелестят, словно жалются, как нарушен их покой. Неужто, велено ей прибраться там? Или же это собственное её устремление? Или... шпионит?! Что-то новенькое: никто прежде не покушался на мои мысли так непринужденно.

Дыхание усиливается, и усложняется, в груди тихонько клокочет – пытаюсь успокоиться, но тщетно. Где-то пробуждается Боль... Постоянная в своих пристрастиях – едва спокойствие сдается хоть толикой волнения, она – тут как тут, Боль! И я приветствую мою Боль в который раз, а с тем, съёживаясь, зарываюсь поглубже в тестоподобную перину.

В молчанье – убийственный рок... Стоит ли испытывать терпение, её и собственное?

– Или же вот сигарный клуб – весёленькое место! – два с половиной алкоголика, да с десяток трупов, да-с, ходячих цилиндрических мертвецов с членами на шарнирах и подшипниках в шее, позаскорузлее и меня, и тебя, не дышащих и не мыслящих, а во множестве производящих полусгнившими лёгкими клубы дыма да потемневшими губами – прописные истины. Нам двоим самое место там, Фрида, мы приглашены и станем самыми дорогими гостями! Подумать только – две родственные души, я и ты, только и знающие, как злобствовать на мир и его обитателей!

Любопытство воспламеняется: поглядываю на стену – хмурый силуэт на фоне истерзанного скорбной дрожью огня. Бывало, казалось мне, именно так вторгаются в мир живых тени давно покинувших его – не через ведовство и чернокнижие, не посредством столоверчения, а именно так. Как ещё разглядеть их, если не на стене, чёрным фантомом, остовом несбывшихся надежд, осколком прошлого, эхом тёмного леса и пустынных гор? Как ещё самим духам обратить внимание на себя? Лишь в сумерках, и лишь обернувшись сотканными из теней плащами... И лишь впечатлительным натурам, видимо, дано разглядеть и понять их чаяния. Вот и воскресали они, то и дело, в моём юношеском воображении, едва, будучи в темноте и полном одиночестве, предавался я думам. Неодолимо притягательно, даже сладостно, быть среди них, слушать их речи, скорбные жалобы, наветы, заговоры, и обретать призрачность на глазах, и становиться одним из них, в конце концов.

Господи, а чего они только ни нашёптывали мне!

И эта тень на стене... принадлежащая, вероятно, Фриде, а, может быть, и нет, будто живая, но, конечно же, серая и холодная, расскажет, что-то? Вновь открываю рот – птичкой-невеличкой трепещет на кончике языка вопрос о тьме и предопределении, который на выходе, презрев собственную прелесть, окажется очередной злобной мерзостью. Открываю и, сделав лишний, бессмысленный вдох, закрываю – к чему всё это?

Молчит, робко дышит, будто страшась, шелестит записями на столе – сколь интересно доверенное мною в часы вдохновения бумаге, сколь пленительно сокровенное! Многое из того я уж и сам-то позабыл, но, кажется, кроме мыслей, были там кое-какие стихи.

Стихи, да!

– Если нравится, и если захочешь – почитай мои стихи, я позволяю...

Но вдруг, вздрогнув конвульсионно, гаснет пламя свечи, и кромешная тьма насильно кутает комнату тёмно-серой, ворсом наружу, шалью. Гостья вскрикивает невольно, и, видимо, выскальзывает листок бумаги из руки её, это первый раз за долгое время, что слышу, осязаю, проглатываю и перевариваю я Фридин голос – её ли, о Боже!? Возмущение воздуха, смехотворные проклятия, остервенело-отчаянные шлепки в сторону двери... Но тьма не отпускает – и вместо выхода, встречается лбом она с придавленным порогом.

Новый возглас, теперь боли, жалобный, но подавленный – секундное замешательство, искры из глаз...

И тогда, поддавшись вспенивающему кровь порыву, вскакиваю, как могу скорее, и... жаркую пятерню – гнусно, беззастенчиво – на плечо.

– Вот и попалась, воришка! Брысь под кровать, живо, туда, где ты обитаешь!

Судорожное лукавое безмолвие: мысли вихрем носятся в голове, хотя прежде еле ползали. Какое худенькое плечо – каким образом сменяла ты наковальню без молота хрупким изяществом, Фрида? Где боксёрская статья, бульдожья челюсть?! Где скупая немая ярость?! Спёртая тишина комнаты в лохмотьях несвежего тяжелого дыхания, короткая борьба с тщетными попытками вырваться... Куда там – пальцы, хоть и немолоды, лишь немногим утерали былую хватку и гибкость – им бы чуть выносливости да воли!

Невыносимо... невыносимо!

– Пустите, пустите, ради бога, – неведомый девичий голос обезображен гневом и испугом, – ничего дурного... не желала... лишь посмотрела.

Это явно не Фрида, как мне видится, ведь Фрида – немая, но кто же?! Мгновение... и разум даёт слово непременно узнать, что за голос это, откуда, и каков будет в состоянии покоя.

Неожиданность истончает пальцы, бросает в дрожь, и воришка, пользуясь этим, выскальзывает потихоньку; треск на плече, швы одежды расходятся, и невольно ногти мои впиваются в обнажённую плоть.

– Ай! – сдавленный исступлённый крик.

Но долго ли совладаешь с молодостью?!

И – кричать не получается – сиплю куда-то во мрак, где должно быть её лицо, первое, что приходит в ум:

– Пущу!.. Обещайте... явиться завтра! Обещайте! Только слово...

И пуще прежнего сжимаю пальцы, из последних сил.

Ей очень больно – верю, верю! – голос захлёбывается, перетекая в стон:

– Обещаю, – обжигает взволнованное дыхание, – пустите!

Что ж, томить дальше? Прожигать лихорадочным взором слепое пространство в надежде на большее? Бессмысленно – всё одно вырвется мышка, особенно если кот стар и удручён! А так... хоть будет повод к дурацкой надежде, что не всё ещё так худо.

И изобразив удовлетворение ответом, пускаю плечо – только не надо оваций!

Тут же исчезает сумеречная гостья прочь – дверь порывисто ухаёт за спиной, немолчно свидетельствуя, что всё это не сон. И рождённый страстным бегством вихрь сметает со стола половину моих бумаг, а сигарный пепел, должно быть, метелью в воздухе, и осыпается на пол. Ну, и пускай!

Совсем без сил, грузно, тягостно опускаюсь на пол в том же месте у двери, где держал её, лже-Фриду, коварную самозванку, рывшуюся в моих бумагах. Разумеется, плутовка

и не помыслит выполнять данное обещание, и её правда будет в том, ибо слово, полученное под давлением, разумеется, не имеет никакой силы; она счастлива вырваться из цепких объятий, и пошла на хитрость – кто осудит её?!

И она не явится завтра, ждать тщетно, не явится и не скажет, торжественно сверкнув глазами, забрызгав гневом: «Вот, я исполнила обещание! Что теперь?». Не явится!

Что дальше? Да ничего, Господи, ничего. А появишься она, так стал бы разве я выпытывать её о целях появления в моей комнате и в том, что называется теперь моей жизнью? Ни в коем случае! Я обещаю это, не ей, а самому себе, чтобы не сорваться.

Но что бы сделал ты?

Что? Спросил бы о её имени, всего-то... Ничтожная, вряд ли невыполнимая малость!

И ты думаешь, она бы ответила?! Тебе, насквозь больному и порочному человеку, своими ангельскими устами, горячим молодым дыханием? Ха-ха!

А чем в остальном Лёкк дурнее иных?.. В чём святее, и в чём порочнее?

И ты бы предложил ей, как Фриде, сигар и выпивки, либо чего-нибудь большего?

Отчего нет...

Да, ты неисправим, хоть и стар! И, видимо, складываешь те же самые стихи, что и в юности, разве что прежде они были переживанием, а теперь – всего лишь память.

Ледяной пол, бррр... Странно – прежде не замечал этого, да и вдобавок Хлоя прислала мне джемпер и тёплые носки, чтобы грядущей зимой не схватить мне ангины и не помереть прежде срока. Добрая Хлоя! С некоторых пор она считает осознанное стремление к смерти преступлением, если не грехом – вот же новости! – и всячески, всем существом, противопоставляется этому. Но отчего-то она решает всё за отца, при том, что я и так одной ногой в могиле, неважно случится ли это благодаря простуде, вопреки ей, или моя собственная болезнь выжжет нутро где-то к грядущей весне. Да, где-то к весне, не раньше, и не позже... О, как же долго!

Хлоя... Господи боже, Хлоя!

А как эту зовут? Вот, если бы случилось невообразимое, и завтра явилась бы она ко мне, я спросил бы её об имени, и ничего кроме, пусть не беспокоится. Она бы не ответила, знаю... Что ж, я не горделив и выдумал бы имя ей, назвал, как угодно мне; пожалуй, я могу сделать это и теперь. Ну, ка... Думаю, её звали бы... Ольгой. Ольгой, почему нет?! Выстраданное чаяние – и отчего бы судьбе, скажите на милость, не исполнить его? Ольга! Да, Ольга, только Ольга! Приходи завтра, послезавтра, месяц спустя; буду уповать на исполнение обещания, как голодный истощённый зверь ждёт весны и пробуждения жизни. Разве что весна мне ни к чему, а только лишь она, Ольга.

В тишине под моей кроватью вновь... вздох и, кажется, смешок. Смешок?

– Молчи, Фрида! – возмущаюсь. – Не вовремя подаёшь ты голос. Не до тебя теперь... Память... ты только отпугиваешь память!

Да, воспоминание пробуждается, – то ли кусачий холод жалит снизу, то ли ветер пролез-таки сквозь щели в старом окне, – но что-то побуждает разум повернуть вспять, обратившись к минувшим временам, временам уныния и скорбей, моим последним годам в России. Вспоминаю маленькую Ольгу, о которой, не удержавшись, написал в книге, хоть она и просила не делиться ни с кем поверенным мне – а тут, целая книга! Вот уж чего не хотел бы, так это того, чтобы вернулась она сумеречной тенью, или той, что засматривалась сегодня на мои записи, кем бы та на самом деле ни была, это точно, – мёртвых нельзя тревожить, – но память редко подчиняется чувствам, даже напротив, точно назло, зачастую противоречит им. Не хочу видеть её воскресшей, чёрт побери, но так хочу, чтобы вечернюю гостью звали именно Ольгой... Ничего не кроется за этим – просто хочу потешить слух именем, которое слышал бог весть когда.

Вот и сейчас, неистов, несуразен, переиначиваю на разные лады его, – русское слово непревзойдённо мелодично! – язык путешествует по небу, окрашивая заиндевшей нежностью каждый звук, каждую нотку: Ольга, Ольга, Ольга... Думаю, что устану рано или поздно, но пока усталости нет и следа.

Ольга, святая Ольга... Двенадцати зим от роду лишилась невинности: некое чудовище наложило на неё свою лапу и затащило напрямик в ад. Впрочем, поначалу всё чудилось раем ей, либо его предвестием, и представляла себе она едва ли не апостола пред лицом своим – верно, Андрея Первозванного, раз уж он был у неё первым. А я не был ни вторым, ни третьим для неё, не был никаким; она была подругой мне, близким-близким человеком, родственной понимающей душой, и когда глаза её увлажнялись (а это случалось непроизвольно и часто), кулаки мои сжимались от бессилия, грозя неведомому, затерянному во мгле времён, недругу, и я явственно представлял себе, как вырываю сердце этого её апостола и топчу его ногами, а у неё, видевшей это, просыхают слёзы. Но, как оно часто бывает, всё случилось слишком поздно, в том числе и наше с ней знакомство. И это теперь знаю наверняка, что записанное в неких неведомых никому скрижалях случается неизбежно; тогда же... в муках изводил себя, кусал локти, что не было меня с ней рядом прежде в качестве отца, старшего брата, да кого угодно. Глядя на эти терзания, Ольга только растерянно и виновато улыбалась, и пожимала плечами, и докасалась трепетно моей руки, а в один раз, будто бы в утешение, обмолвилась, что собственный отец как раз таки и был тем, её «первозванным», и что ни на мгновение не мнится ей, будто бы столь «сильна» могла быть моя «привязанность» к собственному ребёнку. Да, не вздыхай так, Фрида, любезный друг, ясноглазая валькирия: с тех самых пор, до глубины постигнувшему весь гибельный ужас случившегося, именоваться отцом ей для меня было сродни кошмарному сну.

И потом я поведал о ней – каюсь! – доверил историю Ольгину терпкой, пахнущей табаком и безразличием, бумаге, наперекор тому, что ей бы пришлось это не по нутру. Под вымышленным именем, под иной личиной, но поведал.

Зачем я сделал это?

Выгораживание её глупостей, и обеление собственного бессилия – назвать ли это иначе?! Вероятно, мне нужна была выговориться, стряхнуть с себя невообразимую тяжесть Ольгиной откровенности, а с неё самой – гнетущее уныние. На деле же вышло, что ни одна из моих благородных целей не была достигнута, и в который раз любое человеческое благонамерение было обращено в прах, подвергнуто осмеянию, распято на кресте без того, чтобы быть снятым и преданным земле. Я просто написал о ней – бездумно, преступно, без зазрения совести! Себя полагая отчасти виновным в её тревогах и в её печали – в чём была моя вина, ведь я и не знал её прежде?! – хоть чем старался помочь, но вряд ли в этом был хоть какой-то смысл. А в чём есть смысл, если разобраться?

Маленькая Ольга с тех давних пор была для меня вроде совести...

Хорошенькая такая совесть, чистая и святая, точно Мария Магдалина. Не кривлю душой – в помыслах и устремлениях не было равной Ольге по чистоте, и вовсе уж не раскаявшейся блудницей представлялась она; слишком рано и не по своей воле вкусив запретный плод с Древа Познания, она обрела себя в вечности исканий, всегда чреватых ошибками и заблуждениями. Уже в нежном возрасте чересчур многие мужчины пользовались её расположением – именно пользовались! – и она отчётливо знала, что ей пользуются, точно носовым платком, однако, заразная бацилла чувственной страсти, занесённая извне в её хрупкое тельце, не подразумевала (да и не могла подразумевать!) возможности отказа.

В давние дни мы гуляли по кладбищу, ещё там, в России. Старинный и почти заброшенный, погост навевал мысли определённого свойства о вечности и предопределении, и кресты торчали там из земли, точно старые умирающие деревья, не всегда ровные, но всегда вызывающие горькое сочувствие. Воодушевление овладело мною: всякие причудливые истории об упо-

коившихся там, выдумывал прямо на ходу, мельком взглянув на имя усопшего и эпитафию, если возможно было их разобрать. Там были и потемневшие от времени и обросшие мхом каменные плиты с различными резными узорами – их вид вызывал во мне больше чувств, так как на них нередко были объёмные росписи о важности того или иного человека, о принадлежности его и состоянии – и жалкие, тронутые ржой, покосившиеся кресты. Но и того было вполне достаточно, и умелому сочинителю нужно было лишь как можно лучше окрасить сухие слова о таком-то и таком-то «рабе божьем», либо же, за неимением лучшего, объяснить, как и отчего скорбное безвременье повело надгробие в сторону – была ли для меня в этом проблема! И птичками с ветвей слетали с горячих уст слова, я едва успевал придавать стройность мысли. Исполненная бесконечной верой, Ольга плакала, где нужно было плакать, и смеялась там, где было забавно.

Потом вдруг произнесла едва слышно:

– Возьми меня, пожалуйста...

И ничего больше, ни звука! Губы остались сомкнуты, выражение лица – отстранённым, мечтательным. Кто сказал это – ветер, листья, трава, мертвецы в своих могилах?.. Нет же, нет!

И, повтори она это, пусть даже и ещё тише, я бы держал ухо востро, и наверное, сделал так, как она просила – набросился бы на неё прямо там, среди утонувших в траве могил, распалённым чудовищной жаждой юной плоти монстром. Но она хранила молчание, и робость одолела её, только маленькая грудь ходила ходуном, да крупная вена на шее порочно пульсировала под смуглой кожей. Скрыл своё преступное смятение и я, ужаснувшись в какой-то момент того, насколько близким к яви стал былой кошмарный сон.

Возможно, я испытывал чувство к ней, слишком светлое для животной страсти, даже очень возможно, и оттого не смог бы свершить то, что те другие, которым она доверилась. Возможно, это было близко к влюблённости, возможно – кто способен сказать об этом по прошествии стольких лет! – ибо память порою напрочь искажает то, что прежде казалось равнобезупречным, и спрямляет сломанное.

Но она промолчала, боязливо оглянувшись, словно бы мёртвые наострили уши и слушают, а, быть может, и смотрят на нас во все глаза. Не страшась мёртвых, я осмотрелся, тем не менее, по сторонам, а затем, недолго думая, продолжил нести легкомысленный вздор о тех, кто был там погребен, в душе убедив себя, что Ольгины слова мне лишь почудились. Мало, будто, со мной происходило подобного! Затем лишь, много времени спустя, на пароходе, коптящем небо над Женевским Озером, услышав щебетание двух влюблённых, русскую речь, родную, понял я, что говорила мне тогда Ольга и то, что это был голос её души.

Вот так... Голос души: спонтанный возникновением, он легко проникает внутрь того, кому предназначен – немногие, даже и мудрецы из мудрецов, могут понять его. Что за извечная беда – понимание!..

Фрида, ездила ты пароходом... вот хотя бы на север?

...Белые ночи, северные сияния, звёзды и бескрайнее море, от которого так и веет первозданным холодом, пред которым ощущаешь себя не то, что вошью, – даже не песчинкой! – молекулой, атомом в первозданном хаосе Творца. Любому порыву ветра ничего не стоит сбросить тебя с палубы, перевернуть всё это создание человеческого «гения», ревушую и коптящую дымом машину, пароход, перевернуть и затопить, а пассажиров отправить на корм рыбам. Когда осознаёшь это всем куцым умишкой своим, то пугаешься сперва, затем же... преисполняешься восторга! И любопытно порою: а коли уж случилось бы так, такая катастрофа, выбрался бы я сам на берег, или через рыбье нутро месяц спустя очутился бы в желудке какого-нибудь норвежского социал-демократа?..

Я напугал тебя? Всхлипываешь, дышишь часто, прерывисто... Ого, я взволнован – это может быть небезопасно! Нет-нет, не доверяйся мне, ради Бога, задвинь бредни мои подальше – всё, что хорошо одному, может быть губительно иному. Езжай... непременно езжай

пароходом на север, не пожалеешь; главное – помни о вероломстве морской болезни и её последствиях.

Так о чём, бишь, я? Ах, об Ольге! Да, теперь бы я развлекал её вовсе не мёртвыми, не могилами и крестами, ничем подобным, но холодным очарованием Гудбрандсдаля и мыса Нордкап.

Сгустилась ночь – бездонный колодезь мрака. Ночь гримасничает из-за запертого окна, подмигивает звёздами, скалит тусклым месяцем рот, ночь призывает на серьёзный разговор – смотри, дескать, я – вечная, а ты, будь хоть творцом из творцов, скоро исчезнешь, растворишься, уйдёшь навек, и кто вспомнит тебя... Нет причин вступать в споры с ней, всегда и во всём – её правда, но и потешаться надо мной – не позволю!

Свеча истлела, но у меня в них нет недостатка – благодаря Хлое!

Где свечи? Не помню... Кажется, в перине, в коробке из-под сигар, но тащиться к кровати... бррр, далеко, я уж пристыл к ледяному полу. Ах, нет же, нет, они под половицей в углу, а вовсе не под подушкой – но это ещё дальше! Да и какого пса нужда в свечах, коли здесь присутствует электричество, одно из радостей двадцатого века!? Вот сейчас включу все четыре лампочки разом и изгоню тебя, проклятая, хочется или не хочется тебе!

Затем припоминаю вдруг с некоторым сожалением: нет лампочек в люстре под потолком – Фрида хотела вкрутить, но я не позволил... Родилась, затем окрепла, блажь: ударится в варварство, шаманизм, заклинать огонь, живой, не нанизанный, точно на солдатский штык, на спираль лампы, и я наотрез отверг всякие лампочки, а убеждать, зная, как это бесполезно, не взялись.

Смеёшься... И впрямь забавно: ничего в этом жалком теле от варвара, одна беспомощность... А тех, от кого так же мало толку, как от меня, знаешь, в былые времена убивали, не так ли? Просто-напросто отводили в лес и бросали умирать. Нашёлся бы тот, кто покончил так со мной...

Ты можешь сделать это, дорогая? Вот Хлоя не может, а ты? Также?

Тогда убирайся к дьяволу!

II

Утро привечаю в кровати, мутью продирая глаза.

Сном ли обозвать ночное свидание, явью ли? Полузабытьём – вернее всего... где тьма, и где туман давно отмерших дней... И где сам себя баюкает человек сказками прошлого, им же и выпестованными.

Как случилось оказаться там, на кровати? Я был перенесен с пола – сам бы ни за что не вернулся!; возвращаться – ни желания, ни возможности... Это, верно, Фрида – кто ж ещё?! – одна либо с чьей-то помощью. Фрида уже была здесь: изразцовая печь пышет жаром, на столе в хаосе бумаг – таз и кувшин с водой для умывания, чашечка кофе, простывшего, разумеется, по моему вкусу, и зёрнышки таблеток – красная и две цвета неопределённого, как всё, чему вряд ли стоит доверяться, ближе к белому. Эти белые, неведомо от чего – их отбрасываю – а красная... Крохотное пунцовое пятнышко, средоточие власти, партитура, по которой заиграет оркестр, когда кровь, всколыхнув сосуды, расправив знамёна, поскачет веселее. О, небо! Благословенно то, без чего теперь нелегко обойтись!

А не мог ли кофе простыть сам по себе со вчерашнего дня, ведь я и не притрагивался к нему, и он упорно выстоял всенощное бдение одиноким актёром-трагиком? Невозможно, ведь и печь, и таз, и таблетки... да, чёрт возьми, таблетки, вот оно всё, тут как тут – Фрида не пренебрегает мной. Я же, напротив, хоть и не сомкнул глаз, каюсь, с большим усилием могу припомнить её появление. Скользнула, кажется, по стене согбенная, отдалённо напоминающая человека, тень...

И вот же, с отчаянным трепетом потянувшись к столу, осознаю, как больно мне, и постигаю невыносимое расстояние от кровати до стола. Пробудившись вместе со мной, и теплясь до поры, не даёт Боль воспрянуть и сковывает неверное нетерпеливое дыхание. Боль... Косматая старуха с ножом, взгромоздясь на меня, пронзает грудь, и медленно-медленно поворачивая рукоять, глядит мне прямо в глаза. Неправдоподобно медленно... Вот что есть Боль! Господи, уберите... уберите – нет мочи видеть! Это лицо, этот запах, это постылое удушье... Если б возможно словами было вычертить всё злободневное чувство, если б буквицей обратилась мгла, слогами зажурчали фразы, сливаясь в мудрёные озёра предложений, не вышло бы чего-то не менее грандиозного, чем «Война и мир» графа Толстого?!

...И напряжены мускулы, натянуты струнами, тонко пищат; собираюсь силами, единственный могучий рывок, стоивший многого – уродливая старуха летит прочь и я вместе с ней, кубарем с кровати. Пружины отзываются протяжным жалобным стоном.

Больно...

К столу... на четвереньках к столу – шлёп-шлёп! – старуха здесь, лопочет что-то, шамкает, шуршит, но не отстаёт, шаг за шагом, метр, два, три – какая огромно-нелепая комната, хоромы – что за нужда мне в такой?! Это всё Хлоя расстаралась, выхлопотав родителю самую большую. Она переводит за неё изрядную сумму, она хочет, как лучше, а выходит... отец не в состоянии скрыться здесь от преследующей по пятам его чёрной старухи-Боли.

Но вот, наконец, она, красная! Хватаю с жадностью её, невиданной смертным – как бы кто не лишил! – держу неверно-трясущейся рукой, чуть не обронив, заглатываю, и всё...

Отвлечённо тикают часы, громоподобно щёлкают стрелки: десять минут – вытерпеть, вынести... десять жалких минуточек, всего-то, точь-в-точь, ни мгновением больше, ни мгновением меньше. Зажмуриваюсь, втягиваюсь в себя, мучительно скулящим клубком конвульсий на ледяном полу – старый побитый пёс – и зубы скрипят, и ногти скрежешут по доскам пола; и считаю... считаю... минуты, секунды, мгновения...

Проходит время...

Фрида, ты всё ещё здесь, под кроватью? Ответь же! Безмолствуешь... Но меня не провести – я-то знаю, что здесь... Благодарю, что прогнала старуху, благодарю – тебе обязан своим спасением! Если ты только видела со стороны меня, то одной своей жалостью и состраданием пробудила во мне чувство вечной признательности. Никогда, никогда больше не буду издеваться над тобой, обещаю!

Ну, или почти никогда...

Теперь легче, куда легче... Лишь голова позвякивает в склизкой косматой мгле, да веки пудовые – нелегко поднимать их! Замшелый воспалённый взор блуждает по комнате, по стенам и полу, не задерживаясь долго ни на чём, и выуживает кругом из постылой обстановки вещи, которым можно восхищаться. Гляди-ка: бурое пятно на салатовой стене расплывается ухмыляющейся призрачной рожицей! Что это, откуда? Картина, репродукция «Крика» Мунка, собственной персоной – ого! Логика присутствия – туманно-противоречива, и уж вряд ли гнездится в области моих желаний и пристрастий; поначалу я скупился и дорого продавал своё внимание (хоть она и пытается «радовать» меня с самого первого дня), но затем, лёжа в кровати в такие же тягостные, как нынешний, дни, начал присматриваться.

Определённо, думаю теперь, ничего примечательней и быть не может!

Отчего?

Бывает, глубокой ночью или же с утра кричу до тошноты, не всегда от боли, чаще из вредности и тоски – мне дурно, хочу, чтобы и другим было дурно также, всем тем, кто обитает в соседних комнатах, в соседних мирках. Действовать на нервы им, залезть под кожу, выпить у них всю кровь, хоть она и насквозь прогнившая – вот моя крамольная суть! И я жду, с содроганием и торжественной угрюмостью, чьего-либо участия, ответа, осуждения, проклятий и оскорблений; признаков ещё теплящейся жизни, чёрт побери, жажду я, и жажда моя священна! Но многие из них настолько плохи, что уже даже не жалуются, просто лежат по комнатам с хлебным мякишем промеж беззубых дёсен. Возможно, они не могут даже помыслить дурно обо мне, ибо просто не в состоянии мыслить! «Растения» – новое их прозвание, возможно, искренне желанное и томительное, «овощи», великая сокровищница тайны; они отрывают рты для таблеток и микстур, моргают, чтобы показать, попало им что-либо внутрь или нет, сморкаются в украшенные вензелями шёлковые платочки, поданные сёстрами... Щёлк-щёлк: зубы на полке отстучали, отпели своё, отозвавшись на умиротворяющий хруст костяшек; «овощам» нет нужды во вставных челюстях, мостах и коронках – ведь можно похлебать и бульончику!

Ненависть... Боль... Как ненавижу их, как ненавижу себя! И как пылаю, и как неистов в неприязни! Кажется, я питаю надежду воскресить мертвецов криками и шумом, побудить их припомнить свою человеческую сущность, то, что они ещё вольны в своём дыхании, но... явно не Галилеянин устало глядит на меня из зеркала. Или же... слишком скромна я: быть может, если через долгое время по смерти на кости мои кинут покойника, он вдруг оживёт?

Наша богадельня – натуральная теплица, опытная станция растениеводства, фабрика консервированных овощей! Хоть и прозванная каким-то вольнодумцем «Вечной Радостью», как значится на вывеске над входом в парадную, замысел таится в ином – в сумерках, во мгле, в гниении, в упадке – оттого сам я зачастую размениваю это имя на «Вечную Ночь», – не ближе ли к истине это? – с моей руки название притёрлось, старым стали пользоваться меньше, возможно, вскоре оно и вовсе забудется. Целый штат сиделок в белых передничках круглый день занимается культивированием давно иссохших стволов, пытаюсь поддерживать жизнь там, где её уже не может быть а priori. Судя по их физиономиям, такая рутина, как пыль из старинного гобелена, выбивает из них всё человеческое, а сама моя любимая Фрида давным-давно обратилась в некое подобие броненосца или дредноута на суше. Она прёт и прёт

вперёд своей большой грудью, круша в клочья все льды и айсберги, попадающие на пути, все её действия механизированы, в них нет души, и я думаю, так же ли она ведёт себя вне этих стен. О, роковой мир паровых машин, лампочек, гальванических элементов, о, мир потусторонний, слившийся с истинным, реальным! Не нужно ли для блаженства здесь и самому стать Максом Планком и Николой Тесла, неким бесполом безумцем, высохшим за опытами по магнетизму, с головой, синей от падающих яблок, и механизировавшим свои жизненные процессы до отвращения?

«Вечная ночь» – это с полтора десятка сиделок, более-менее привычных к медицинскому делу, ангелов, спускающихся к нам с небес, пара подсобных рабочих, сторож и повар, и также два доктора, два пророка и чародея, Моисей и Иисус Навин... Одного уже нет, господина Остерманна, того, кого я неплохо знал, и кто был увлечён моими книгами; он не вынес своего существования и исчез неизвестно куда. Остался лишь один, но ему наплевать на мои книги, да и на меня самого.

Как всё просто: люди, люди – всё пресыщено людьми... и ничего, ничего помимо «венца творения»! Ничего?..

Нет, быть того не может; люди здесь играют куда меньше роли, чем в обыденной жизни. Мы-то уж давным-давно утратили человеческую суть, сиделки, что постарше, людьми, кажется, никогда и не были, а молодые... светит ли им это?! Доктора? Один испарился, второй... И всё же, не след мне понимать всё буквально – ведь я и существую-то едино лишь бесплотным упованием на встречу хоть с одним живым человеком здесь! Красный крест и Лига Наций будут немедленно уведомлены в случае обретения моими надеждами плоти...

«Вечная ночь» – вселенная о трёх мирах; мир отживших, Мидгард, второй этаж, где коротаем мы, туземцы, дни, в ожидании исхода, предначертанного свыше; божественный мир, этаж третий, мансардный, под самой крышей, куда едва ли возможно пробраться, покуда жив, и где приемная Создателя; и мир обычный – первый этаж, где сиделки стучат ночными горшками и звенят склянками, и повар горланит: «Обед! Обед!». Спуститься на первый этаж вполне возможно, это не возбраняется, возможно и оказаться снаружи, в широких ласковых объятиях угнетённого стариною парка, однако мало кто настолько крепок что мускулами, что душою – оттого огромный парк почти всегда пустует. Настежь для нас и небеса – широкая лестница, обложенная мрамором, ведущая прямоком в Асгард, великий радужный мост, гулкий и крепкий, но вознестись туда... также достояние избранных. «Высок Господь, живущий в вышних...» А ведь где-то там сияет Вифлеемская Звезда, и святой Пётр гремит ключами, и где-то там нет запаха спирта и не стучат друг о друга те самые ночные горшки. И где-то там наверху совсем нет места нам.

«Вечная ночь» – мир, заселённый теньями, вселенная немолчного сочувствия! «Вечная ночь» дразнит, потешается над нами, как сам Сатана, она прикипела к нам, мы видим её повсюду и во всём и... даже в нас самих вместо жизни, подменяя собою мысли – она. За бесконечными шашками, карточными фокусами, викторинами, домино; за столоверчением, тайным и явным; за редкими наездами и набегам родственников; за спорами, наконец – она, и только она. Порой, всё видимое вокруг представляется родным очагом, тёплым, спокойным и умиротворённым, каковым он и должен быть, порой я сам убеждаю себя в этом, и верую в бескрайнюю силу своей фантазии. Верую искренне, до тягостной боли в душе, которая на деле является мне болью телесной. Едва же решаюсь не верить, сомневаться, как вновь, уныло зудя, разгорается нечто в этой душе, глубоко-глубоко. Гнилые иссохшие пеньки! Овощи! Где вы, ау?!

Да, мы здесь, мы никуда и не уходили – как можно!

...И пылающий обманчивый взор вновь сосредоточен на картине – вот, мне лучше, и я не буду кричать так, как господин Мунк, по крайней мере, до следующего приступа, и ухо отрезать себе не буду также. А значит, господам и господам «растениям» можно чуточку перевести дух.

В дверь стучат; стук тягостно-настойчивый – тот, кто топчется за дверью, имеет важную причину стоять и стучать. Фрида уже была здесь – выходит, на пороге не она; осмелилась бы она совать свой нос ко мне ещё раз с утра пораньше – да ни в жисть!

И я не отвечаю – настроение ни к чёрту, только гостей мне не хватало!

Не так давно одно из местных «растений», госпожа Фальк, вдова какого-то чиновника, «сгоревшего на работе», стучалась ко мне, царапалась кошкой, просилась внутрь – не знаю, что за нужда и что за тревога! Слышал, так ходит она к доброй половине насельников, разнося бесконечные байки о своём давным-давно почившем в бозе супруге – да существовал ли он на самом деле!? Дескать, сей знаменитый господин Фальк, в одиночку выиграл какую-то войну, а к мнению его прислушивался сам король... ну, и всё в таком духе. Побасенок слушать желанием в тот раз я не воспылил, хотя, скрывать нечего, в определённые моменты жизни здесь такая жуткая тоска накатывает, что я бы всё-таки послушал её, попытавшись её тоской заглушить свою.

Проходит время – стук не думает умолкать. Не вдова ли Фальк всё же вновь доискивается моей компании? Либо же это стосковавшаяся по мне Фрида? Тогда пусть постоит за дверью, пусть пораздумает, пусть покипитится немного – о, это повод лишний раз воспылать ко мне ненавистью, если обладает таким чувством человек с характером дохлой рыбы... Нет, отчего Фриде стучаться? Вошла бы без церемоний – ей, видите ли, никакой закон не писан! – да и дело с концом. Это кто-то ещё... Кто же, кто? А, может быть... она... Она же дала обещание! Да, дала, явиться вечером, взгляни в окно – вечер уже? То-то же...

– Господин Лёкк! – глухой голос из-за двери вносит, наконец, определённую ясность, а то, не ровен час, можно было бы и захлебнуться в загадках.

Конечно, признаю голос без труда – сложно не признать его! – это не вдовушка Фальк, и уж точно не Фрида – та утром вылезала из-под моей кровати сварить мне кофе и подать таблеток, а теперь моей волей вновь сопит там, загнанная обратно – это Стиг, главный и, с недавних пор, единственный доктор, а кроме того... директор, президент, Великий Могол, Господь Бог, и так далее. В общем, тот, кто пыжится продлить мою жизнь собственными усилиями за мои же собственные кровные. Давеча блажь откровением звякнула в темя ему: необходимо стучаться в двери к своим постояльцам! Вот так то! И чихать на глупую церемониальность, на драгоценное время – блажь зарделась в мозгу путеводной звездой. Пусть он может войти свободно, так же, как любая из сиделок, благо замков в дверях нет в помине, но ему необходимо показать, что мы все здесь располагаем собой и своими апартаментами по собственному усмотрению – в этом весь смысл! – вот он и стучится; авось, упоенный свободой, Лёкк в нетерпении ждёт его с караваем да чаркой водки. Нет уж, не собираюсь доставлять ему такого удовольствия – будет нужда, войдёт сам!

Доктор Стиг... Занятный персонаж, целая глава в книге моей жизни, эпилог, не написанный куда... Мессия, Создатель, живительный источник Правил, Моисеевых Заповедей, горячий почитатель экспрессионизма Эдварда Мунка как средства донесения до насельников визуальным рядом неких собственных непреложных истин. Я не особо церемонюсь с ним и внимания моего он почти не занимает, но вот у остальных он – притча во языцех, бесконечная тема для благоговейного шептания по углам, предмет культа и почитания, сила, к которой возносят требы и на которую уповают во скорбях и несчастьях. И, как и всякий культ, личность доктора связана с табу, запретом, личность его – непогрешима, а всё сделанное или сказанное им – непоколебимо. Одним видом своим порождает он животный трепет – языки прилипают к нёбам, а руки заходятся в треморе: вечерами, при блеклом свете его сияющая лысая голова носит на себе огненные блики, а персты, плавно разведённые в стороны, говорят за сына Божьего, спустившегося на Землю для очередного спасения грешных душ.

На деле ж доктор Стиг – единственный здесь чудак, кто полагает или же делает вид, что полагает, будто кто-то из нас может ещё хоть от чего-то излечиться, пусть не от хворей, так от плесени скверного расположения духа – наверняка.

Действительно, каков чудак!

Как и положено существу высшего порядка, скорее метафизик и алхимик он, да и мыслит против всякой логики, несмотря на то, что накачан точными науками – ведь если кто-то и вылечится, то будет таков, покинет эти стены, а, выходит, сгинут и деньги, немалые, к слову. Однако иное исполняет он с точностью педанта – поддерживает огонь жизни в наших почти угасших светильниках, и это, надо сказать, составляет основу его нынешнего благосостояния. И благосостояние его возникло не на ровном месте, оно заслужено, выстрадано, ибо, в самом деле, врачует он хворых – шутки в сторону, господа – я видел сам! – исцеляет умы от зловерного вируса здравого смысла, а иногда и прикосновением – кручину.

– Господин Лёкк, хотите вы или нет, но я тотчас войду! Ровно минуту вам на то, чтобы придумать объяснение, отчего вы не отвечали на мою просьбу, и потрудитесь, чтобы оно было более-менее правдоподобным – у меня нет желания более слушать всякие бредни о белых карликах и атмосфере на Юпитере. Хронометр у меня в руке, время пошло!

И слышу: впрямь, из браслет-часов за дверью доносятся соловьиные переливы менуэта – юноша сколь свят, столь же и упорен!

Но, разумеется, не собираюсь ничего выдумывать, даже и вскакивать-то при его явлении, как заведено при европейских дворах – верх глупости. Нужно подумать о том, чтобы как-то обезопаситься от его появления, его и ему подобных. Некая пожилая и немного тронутая рассудком дама из семейства Фальк так и не додумалась просто толкнуть всегда открытую дверь и войти, вместо этого царапаясь ко мне с полчаса, а этот Стиг – пройдоха умный, хоть на вид ему лет двадцать восемь-тридцать, и уж он-то войдёт без помех, рано или поздно. Господи, Хлоя бы уж придумала что-нибудь!

Так и продолжаю падишахом возлëживать на полу под балдахином стола на ковре собственных бумаг, когда он, истомлённый нетерпением, наконец, входит. Входит... сперва рождённый его порывистостью воздушный поток, ветер, затем – он, и словно поток этот несёт на своих крыльях его. Раздражённого, досадующего, – это слышно по тому, как грубо толкает он несчастную дверь, по тому, как дышит, – но держащегося – о, как бы не так! – невозмутимо. По комнате разносится сильный запах лимонно-мятного мажетеля, будто бы надуло ветром перемен сюда и не человека вовсе, а лимонное, усыпанное плодами, дерево, а в голове мгновенно заводит оркестр весёлую камарилью «Там, где цветут лимоны», насыщая прогорклый воздух звонким смехом кружащихся в вальсе парочек!

– Что это? С ума вы сошли?! – совсем по-Фридиному всплескивает он руками. – Вставайте же немедленно – пол ледяной. Сейчас позову сиделку, она вам поможет.

С самого начала ко мне приписана молчунья Фрида – можно бы, понятное дело, и свыкнуться – но... желания видеть её не было как прежде, так совершенно нет и теперь, и тут же отвечаю, что, так уж и быть, не премину подняться в обмен на клятвенное заверение дражайшего доктора, что он не будет звать сиделку.

Случившееся пробуждает язвительную словоохотливость.

– Доброе утро! Не скрою, очень радостно видеть вас здесь, доктор, – кисло замечаю, поднимаясь с его помощью, – знаете, что я надумал? Хочу завещать вам все эти бумаги, которые вы можете видеть здесь во множестве, чтобы вы, когда я покину этот свет, пустив их с молотка, смогли бы обеспечить себе безбедное существование.

Доктор, так же кисло:

– Как любезно с вашей стороны...

Вне сомнения, возбуждающий любопытство человек, этот Стиг (есть такой сорт людей, заставляющих задумываться!), и на вид также: вовсе без бороды и прочей растительности –

даже без бровей! – да и голову выскабливает наголо, до известного матового блеска, а кожа лица – бледная-бледная, как у покойника, даже с какой-то противоестественной синюшностью... Но губы розоватые, поразительно приятного здоровья, и всегда узки, плотно сжаты, будто бы хранятся за этими губами, помимо зубов и языка, и некая тайна! А глаза... право, что за замечательные глаза! Глубоко посаженные, пронзительные, холодные... цвета начинающего таять, но так и не тающего, льда. Глаза врача, копающегося в полном интимных тайн дамском редикюле; глаза своенравно-испытующие: дескать, madame, что изволите скрывать от меня? Возраст? Собственный, или того, кто наградил вас интересным недугом?

– Так отчего вы молчали? – интересуется, с мрачным любопытством оглядывая меня с ног до головы. – Объяснитесь... Я начинал думать, уж не случилось ли чего...

– ...Необратимого, так? – отвечаю, и далее: – Нет нужды переживать – я спал, неужто не видно...

– Спали? Странное местечко избрали вы ложем... – замечает он, пуще расслабляясь оттого, что ему не приходится слышать ни об атмосфере на Юпитере, ни о Френсисе Дрейке, ни о Городе Солнца, ни о чём подобном.

– Чем же не ложе! Моё-то, извольте: несвежее и сопит; кажется, оно нездорово, у него насморк...

Ну же, ну...

Вот... отлегло от сердца и у меня – только-только дребезжал натянутой до предела, готовой лопнуть, струной, теперь же... сходит холодный пот, и стремительно остывающая кровь – прочь от висков, бывшей тревоги и след простыл. Доктор здесь, официальный визит вряд ли спонтанен, как всегда – видите ли, он никогда не забегает, просто проходя мимо, он о чём-то размышлял, спускаясь ко мне с небес, и морщины на высоком лбу так до конца и не разгладились. Что-то случилось, что-то, о чём он думает и никак не может забыть? И что это, в самом деле, такое, дорогой доктор – где ваш накрахмаленный выпускающий лимонную свежесть халат, где тонкая змейка обвившего жилистую шею стетоскопа? А иссиня-чёрная угрюмая, с сияющей золотой окантовкой, папочка... – где же всё, доктор?!

– Сопит? – разменяв крупную купюру нетерпения на пригоршню меди, он предельно задумчив, сосредоточен. – Поскрипывает, то есть?

Демонстративно плюхаюсь на тахту.

– Как видите... – и тут же вскакиваю возмущенно, будто бы невыносимо противно мне сидеть так, и будто бы нет никаких забот у меня, кроме как слушать стоны дурацких пружин.

Молчание – тягостное, неуютное... Вдруг доктор приближается, подходит вплотную, испытующе сурово, с гармошкой на переносице, смотрит, а затем, ни с того, ни с сего... бух! – неприятливо тяжёлую руку, панибратски – мне на плечо.

– Вот что, дружище, – он твёрд, бесстрастен, – давайте начистоту. Не будем выяснять, отчего вы лежите на полу, а не там, где положено, на кровати, и отчего целую ночь провалились в дверях, поговорим о чём-то более глобальном, о чём я давно думаю. Вам, верно, что-то не по душе в нашем заведении, вы голодаете, кричите и протестуете, в общем, ведёте себя – как бы это выразиться... – нехорошо, а о постоянных нарушениях вами установленных норм я уж и вовсе промолчу. Что это – упрямство? несогласие? вредность? – как ещё назвать? Вот и теперь, пожалуйста... игра в молчанку; пыжитесь что-то, рисуетесь себе – для кого? для чего? – изображаете графа Монте-Кристо, Чайльд-Гарольда, и чёрт знает кого ещё, вместо того, чтобы ответить на простой, ни к чему не обязывающий, вопрос. Невежливо, знаете ли, и кроме того, странно – будто бы спрашивал я нечто из ряда вон! Но ведь вряд ли, в самом деле, только скрипучая кровать (которую мы, конечно же, исправим – не сомневайтесь!) способна была стать поводом к вашей вселенской тоске. Быть может, в доверительной беседе вам стоило бы рассказать мне, что у вас не так, что беспокоит вас, и я бы постарался что-то сделать для вас, как-то улучшить ваш быт ли, сформировать более приятное меню по вашему вкусу...

Неожиданность плюёт в лицо: ошарашенный, хлопаю глазами – обращался он ко мне прежде так, по-свойски, добрым пастырем к заблудшей овце, любящим всепрощающим сыном к родителю? Прохаживаюсь взглядом по его элегантному серому костюму, выутюженным стрелкам, задерживаясь особо на кроваво-красного шёлка шейном платке и бриллиантовых запонках с вензелями: в моём рассеянном виде, верно, мыслью и не пахнет. Замешательство порождает в противостоящих глазах странную вспышку – не злорадства ли?

– ...Вы же видите, – продолжает он неожиданно напористо, – (а это невозможно не видеть!) как благодно настроены мы, – проводит свободной рукой круг в воздухе аккуратно перед нелепостью моего образа, – все мы здесь, в нашей «Вечной Радости», по отношению друг к другу. Каким терпением проникнуты и слова, и дела наши. Что это... что шумит там, в коридоре, за белой дверью, на лестницах, в столовой и в парке... Слышите? – сильно сжимает моё плечо, вонзается взором мне в глаза. – Доверие! В доверии нуждаемся мы все, как в воздухе, как в маяке во тьме; мы хотим тепла, хотим стать семьёй...

Прихожу в себя – нутро жжёт нелепица напыщенности словес и оборотов, блик утреннего солнца на зеркальной лысине, лукавая тягость момента...

– ...Мы разрушили границы между персоналом и постояльцами, ненужные бессмысленные границы, убрали из дверей все замки – никто не услышит больше здесь скрежет запираемой двери!

«Вырезали замки, но задвижки... задвижки снаружи так и остались – так, на всякий случай...».

– ...Но мы хотим... – переходит на священный шепот. – Я хочу – ответного расположения! – и тут же довольно громко, увесисто: – Наивно ли желание? Возможно... Отчаянно ли? Да, чёрт возьми!

«Отчаяние говорит этими устами?» – размышляю я. – «Вот ещё! Ха-ха! Но отчаявшиеся святые и, конечно же, безумны где-то; они не замораживают взглядом вод, и не превращают обративших к ним чело в камень...».

– ...И что же я каждый раз получаю в ответ?! – доктор воодушевляется. – Я, бедная Фрида, ходящая за вами, как за младенцем!.. Что? Неприязнь... даже не равнодушие! Вот и теперь топчусь за порогом, предоставляя вам собраться с мыслями, привести себя, так сказать, в порядок...

«Нет, не отчаяние, и... вовсе никакое не чувство – текст! Машинописный, с ошибками, опечатками, близкий к жизни, и далёкий от неё, и всё-таки – не жизнь, даже не подобие. Текст!».

– ...Даже не удосужились ответить из-за двери, не то чтобы открыть!».

Пора была уже что-то сказать, и я спрашиваю, икнув:

– Вы будто бы затаили обиду?

– Обиду?! Да, если хотите, да! Всё здесь сделано и существует для вас, и даже замков в дверях... кхм, нет...

– И с этой обидой явились вы ко мне в комнату, за которую дочь моя платит дороже, чем за номер в «Плазе»...

– Речь не об этом, Лёкк! – смутившись, но изобразив искреннее возмущение, быстро обрывает доктор.

– Разумеется, не об этом – не о комнате, не о столе, не о холодном кофе и пылающей печке; и не о жизни, и не о смерти, конечно... Как можно! Но... вот что, доктор: лучше б были замки в дверях, и лучше б запирались исключительно изнутри они, и лишь один ключ существовал в природе, без каких бы то ни было дубликатов, и лежал бы этот ключик, – хлопаю себя по нагрудному карману, – здесь – и тепло, и надёжно...

Смущение, если и впрямь это было оно, мигом минует.

– Вот оно как! – произносит он деловито и, кажется, заинтересованно, и плавно качает головой. – Что ж, непременно внесу это чаяние на ваш дебет, а будет оно удовлетворено, либо нет... Однако чего же вы ещё хотите? – пожимает плечами. – Какие вообще могут быть желания у человека, живущего... в довольстве на полном пансионе? Какие неосуществлённые возможности имеются у того, кто равнодушен...

Морщу лоб: опасный, опасный человек этот Стиг, – бухгалтер от Гиппократова семени, – хоть бы и так, но он добивается своего...

– Смелей, смелей! – бодро трясёт он моё несчастное плечо. – Я слушаю, и, обратите внимание, даже припрятал часы...

Желания? Возможности? Вот вам желания, и вот возможности:

– Откровенно говоря, дорогой доктор, и не чаял я лицезреть вас, несомненно приятного мне человека, по такому незначительному поводу, – замечаю. – Сначала я просто не слышал вас – оно и понятно, ваш голос больше вкрадчив, нежели гулок, волнующ... Но едва понял я, кто за дверью, подумалось мне, что не иначе мои анализы оказались вдруг ни с того ни с сего положительными, либо профессору Фрейду во сне привиделось лекарство от моей болезни, и вы спешите поделиться со мной столь... безрадостной для меня (а, быть может, и для вас – кто знает!) новостью. Логично было бы подумать с вашей стороны, что сей факт как раз таки и лишил меня дара речи, и поразил в самое сердце – оттого, собственно говоря, не случилось мне тотчас же засвидетельствовать вам своё почтение.

...И глаза потухли, лоб тускнеет – доктор отступает, на время, конечно.

– Не знаю, как и реагировать на ваши слова, – проводит ладошкой по шарообразной лысине, – трудности перевода, должно быть, ведь вы же иностранец... Впрочем, любому культурному человеку известно, что профессор Фрейд – психоаналитик и не имеет никакого отношения к...

– ...К растениям и овощам, – прерываю его, демонстрируя отличное знание его собственного родного языка. – Да-с...

– К растениям и... – задумчиво повторяет он, и вдруг громогласно-нетерпеливо: – Каким ещё к чёрту овощам!?

– К госпоже Розенкранц, например, или к старому Хёсту, мешком лежащему за стенкой с открытым ртом, куда иногда залетают мухи – чем не растения, а?! Вот вы, господин доктор, захаживали к Хёсту сегодня? А если он уже два дня как мёртв и завонялся?!

– Вот же вздор! Господин Хёст жив, это точно! – возмущается доктор вполне себе уверенным тоном, ужасно скосив зеркально-гладкий лоб.

– О, стоит ли быть так уверенным... На той неделе, аккурат перед Родительским Днём, я не имел чести лицезреть вашей разлюбезной Фриды почти три дня и был предоставлен сам себе. Что если и Хёстова сиделка, фрёкен Андерсен, не кажет носа к нему? Молодой женщине не всегда бывает приятно соседство со старичьём – подмывать, выносить горшки, и всё такое прочее...

Доктор, недоверчиво:

– Это её работа, долг, в конце концов!

– Долг, долг... – разумеется. Мы всегда следуем долгу... Всегда ли? Подумайте – быть может, и впрямь её не было... Скажу вам и так, милый доктор: даже очень вероятно, ведь господин Хёст – мой сосед, и я бы непременно слышал, посещают ли его – двери здесь, знаете ли, поскрипывают, а стены тонки.

– Вот ещё...

– А госпожа Фальк!

– Что госпожа Фальк?... – как будто вздрагивает он.

– Где она нынче, вы знаете? Добрую неделю или того более её уж не видно – не слышно, её место за столом пусто – когда такое было! Впрочем, чему тут удивляться...

Блуждающий взгляд доктора, окаменев, останавливается на моём лице – обсуждать вдову Фальк со мной он явно не намерен, довольно с меня и недвижимого, вероятно мёртвого, господина Хёста.

– А вы – озорник, Миккель Лёкк, – напряжённо улыбается он, по своему обыкновению, одним, на этот раз левым, краешком рта, даже не разомкнув ставших чуть менее розовыми губ, – но не кажется ли вам неуместным шутить подобными материями?

– А делать их источником прибытка... – отзываюсь, – и вовсе грешно...

Он разводит руками.

– Грешно, грешно... Хорошо, я принимаю всё это за выдумку умного человека – удовольствуйтесь этим и будет! Выходит так, что оба мы в несомненном ущербе.

Я, слегка кивнув:

– Наверное, наш ущерб и рядом не стоит с неудобством господина Хёста...

И что же: мы приходим к согласию, мы заодно? О, в спешке сокрыто злодейство – так что не спешите... не спешите, господин торопыга! Впрочем, мудрости ему не занимать, он и сам мог бы поделиться ею с кем угодно...

Устав ждать приглашения, ступает внутрь – высокая сухопарая фигура кажется здесь, у меня, инородным телом, насильно занесённым в живую ткань вирусом. Обходит комнату кругом, задумываясь у картины, у кровати, у шкафа – оценивающий собственное творение скульптор (а ведь меблировка и впрямь – дело лишь его дрянного вкуса), ни дать, ни взять; любитесь чудным видом из окошка; затем, взяв мой единственный стул, ставит его спинкой к окну и присаживается непринужденно, закинув ногу на ногу – король на собственном престоле. Далее – великодушно-небрежный жест по моему адресу – позволяю покамест садиться, дескать. Будьте любезны, я не горделив, усаживаюсь на кровать: та вновь жутко скрипит, а на лице доктора – ни следа забот, не минуло и нескольких минут, как всё схлынуло и морщины на его высоком выпуклом лбу, наконец, разошлись, как грозовые тучи. Сидим, смотрим друг на дружку, синхронно хлопаем глазами...

Доктор делает вдох и открывает рот...

– Вы не хотите, всё же, узнать, жив ли господин Хёст? – опережаю его.

Выдумка – решил уже он, и довольно с этим!

– Ну, вот что, друг мой, – деловито и раскованно начинает он, – признаться, вовсе не о том я хотел говорить, не о быте, не о сёстрах... И о моих жильцах – довольно, слышите! С иным намерением здесь я, но своим положением вы меня просто-таки огорошили... Гм, ну что ж... Странно: я стал куда больше размышлять, и покой некоторым совершенно бесцеремонным образом покинул меня. Причиной тому – вы, Миккель Лёкк. Читаю вашу историю болезни, это, можно сказать, стало моим настольным чтивом...

– Хм, что я слышу – история болезни! – не отказываю себе в удовольствии вставить словечко. – Вы будто бы обнаружили здесь больных? Что же мучает нас: капустаница, плодояжорка?..

Доктор, с необычайной лёгкостью отмахнувшись:

– Ну, биографию, судебные протоколы, разве это имеет значение?.. Так вот, позвольте узнать у вас одну вещь?

Усмехаюсь, тут же напоминая ему, что он... как говорится, несколько поспешил:

– Это относится к истории моей болезни или моей собственной истории?

– Скорее к последнему.

– Тогда вынужден вам отказать, милейший доктор. Если в судебных актах вы ещё можете покопаться – всё же они в общественном достоянии – то в остальном... Впрочем, проживите ещё некоторое время после меня, сохранив интерес к моей персоне...

– Что же тогда?

– ...И тогда, без сомнения, сможете прочитать многое, что вас интересует, в некрологе.

– Но всё же, – кривится, – в качестве приватной беседы, tête-à-tête...

– Приватно я всегда беседовал исключительно с дамами...

Даже и глазом не дёргает:

– Вы – русский, и покинули вашу родину после... как это у вас там называлось? После Революции... – это непривычное для него (да и для многих норвежцев) слово коверкает он неимоверно дико, как-то вроде «Разколюции» или «Проституции», так что мне немалого труда стоит понять его, – ...покинули, и оказались в Швеции, затем в Норвегии, здесь вы обрели славу, почитателей. Истинно, многие читали вас здесь, многие любили, (даже я сам, скрывать нечего, был заинтересован) у вас было всё – богатство, любовь, признание – всё то, о чём любой человек может лишь мечтать! Но вы... – здесь его обычно невозмутимое лицо вновь слегка кривится, – ...вы презрели всё это, вы не были благодарны судьбе за её дары. Поразительно: обладая известностью, вы не вели публичной жизни, будучи богатым – не тратили состояние, блуждали во власянице по пустыне вместо того, чтобы разъезжать в золотых каретах. Да, Лёкк, мне не настолько много лет (хоть меня и трудно назвать мальчиком), и я не испытал ещё тех злоключений, что испытывали вы некогда, оставляя родную страну против воли, но всё же, хотите верьте, хотите – нет, я всегда хотел одного – задать вам этот вопрос, всего лишь. Порою, мне снилось это! Поверьте, я редко вижу сны, и вообще не столь впечатлителен, но это... Это мучило и изводило.

Смотрю пристально: лицо приторно-холодное, почти неизменное, что бы ни происходило, – ни дать, ни взять, рыба, пускающая пузыри в аквариуме, – и Фрида-то смотрится живее, хоть немая немой. Вот, он упоминает о своём сне, о своих, кажется, сокровенных желаниях, о какой-то боли и каких-то страстях, безэмоционально, ничтожно, не смущаясь, не потупя взгляд, словно бы о том, что читал в газете или видел на сцене антрепризы, лишь изредка, как у него в обыкновении, улыбаясь то одним краешком рта, то другим, словно бы нечто за ушами невидимыми нитями оттягивает ему этот рот. Что за конфуз! Господи, если вы так будете говорить со мной в самом начале разбушевавшейся стихии, я и то буду более склонен верить вам, нежели теперь.

И я спокойно спрашиваю, пожимая плечами:

– Вы хотели расспросить меня о Революции?

– Ах, Лёкк, – многозначительно вздыхает доктор; по этому вздоху я понимаю степень его изрядной осведомлённости, – я откровенен, и от вас хотел бы взаимности – что тут невыносимо тяжкого? Мне не нужно знать, отчего пришлось вам покинуть Родину – из-за бытового неудобства ли, либо вследствие несоответствия ваших политических взглядов новым властям (и такое тоже случается, отчего нет!) – ведь там нынче... коммунизм. Оставьте это при себе, тайной души, если хотите. Вопрос мой очень прост – отчего вы такой? Не перекручивайте, вы всё прекрасно поняли. Да, отчего?! – он вдруг всплескивает руками, немного повысив голос. – Отчего, чёрт побери, будучи читателем ваших книг, я увидел вас воочию лишь тогда, когда вы оказались в моём ведении в этих стенах?! А до тех пор... хм, до тех пор я и знать не знал, реальны вы или нет, так, всего лишь тень, плод воображения. Будь я знаком с вами прежде, будь я уверен в том, что читаю живого человека, зная его историю, видя его лицо, я бы куда охотнее расставался со своими кровными, понимаете вы?! Я бы...

Не сдерживаюсь и холодно обрываю:

– Полагаете, это вопрос медицины, практики? Высокий Королевский Суд пытался повесить на меня ярлык безумца исключительно за то, каков я есть от рождения до сих пор – доказывали, опрашивали свидетелей... и так далее – но вышло лишь доказать мою недееспособность. Вы тоже хотите попытать счастья, доктор? Впрочем... – пристально вглядываюсь в него, – Погодите, погодите: с каких пор «Вечная Радость» сумасшедший дом?

Небольшой тактический маневр:

– Нет-нет, Лёкк, и я также полагаю, что медицина здесь не причём...

– Тогда что же вас, известного практикующего врача, здесь заинтересовало?
– Ну, перво-наперво нужно заметить, что я пришёл к вам, обратите внимание, без обычных в таком случае принадлежностей – без стетоскопа, без халата...
– Только с часами...
– Только с часами!
– ...Подмечать время, проведённое со мной, чтобы выставить счёт...
– Возможно.
– Неужели, вы тут с частным визитом?
– Можно и так сказать! Я здесь частное лицо – у меня, видите ли нынче – в кои-то веки! – отгул...

– ...И вы посвятили его мне – не глупо ли!
– Ну, признаться, благодарности за это я и не ждал...
– Чего же вы ждали? Объятий, слёз, заламывания рук?
Задумывается, чешет зеркальный подбородок.
– Наверное, чего-то особенного, мудрости, что ли, обычно сопутствующей сединам... – и вдруг оживляется: – Впрочем, своими словами вы подталкиваете меня к мысли, что, в этом есть рациональное зерно.

– В чём же?
– В медицине... Да-да, послушайте – я долго боролся за это... Возможно, друг мой, возможно! – задумчиво говорит он. – Видите ли, когда обстоятельства оборачиваются против нас, это отражается определённым образом на здоровье, да, на умственном и физическом состоянии личности.

На это я смеюсь:

– Ха-ха, уверяю вас, перемены в жизни никоим образом не влияли на моё состояние, – и решаю больше не отвечать до поры, да поглядеть, как обернётся дело.

Его реакция молниеносна:

– Если так полагаете вы, то это вовсе не означает, что этого нет. Больному всегда не хочется верить, что он болен, ну а болезнь, эта кара судьбы, источает тело, не спрашивая его советов.

Словом, Лёкк всё-таки болен, вот так! Или же... просто грешен?

Молчание.

– Не принимайте мои слова близко к сердцу, Лёкк, – продолжает доктор, – они относятся не к кому-то лично, но ко всем людям, ибо все они в массе своей – одинаковы, недаром произошли мы от одной Евы. Знаете, порой я благословляю болезнь! Отчего, спросите? Не оттого, вовсе, что мне пребывает работы и карман наполняется деньгами; разительные изменения – вот что! В болезни, любой, даже самой незначительной, человек показывает себя – от ледяного ужаса до голосов, полных сомнений и противоречий; о, как интересно это наблюдать...

Вот и пожалуйста: любитель задушевных бесед на темы происходящего с душой, Стиг, развёл свой собственный ботанический сад, коллекцию, паноптикум, из чистого интереса за наблюдениями. Случается, когда забываешься, начинаешь говорить правду, то, во что веруешь на самом деле, и тогда иной добрый сказочный доктор становится ужасен, порождение своего собственного животного любопытства, точно ребёнок, которому захотелось увидеть Смерть.

Нахрапом доктору добиться ничего не удаётся, напротив, он подозревает, что наговорил лишнего, разоткровенничался, и, всё с той же каменной физиономией, он переходит к странностям разоблачениям, полагая, будто этим сможет задеть меня:

– Да вы – преступник, Лёкк, вот что! Преступник и грешник! На вас множество грехов, гораздо больше, чем тягот. Подозреваю, именно эти грехи привели вас сюда...

Продолжаю равнодушно молчать, ковыряя взглядом потолок.

– ...Я вот всё думаю, – разглагольствует доктор, – ненавижу ли я вас, почитаю, либо вы мне безразличны? Нет, какое-то чувство есть, снисходительность, сочувствие, быть может, что-то ещё... Вы не жертва обстоятельств, нет, все эти ваши грехи прекрасны и являются в облачном сиянии благодетельствами, для всех вы чисты, как ангел, чище быть не может – куда уж мне до вас. Да вас просто-напросто мало кто знает, а видело... и того меньше. Откровенность за откровенность, да! Но всё же, всё же...

И вдруг... ни с того ни с сего смягчается, просит не обижаться, ибо не имея никакого зла ко мне в душе, напротив, глубоко симпатизируя, он всего лишь хоть как-то хотел помочь мне, а без откровенных душевных бесед это вряд ли возможно, не правда ли?

А я всё гляжу и гляжу – когда можно будет понять, что на самом деле творится в его душе. Слова, действия, взгляд – что необходимо для этого? Этот человек, доктор Стиг пытается вторгнуться в мою душу, вскрыть затянувшиеся раны, узнать мотивы моих поступков, ему интересно это, для чего – не знаю, но интересно. Быть может, это сам Сатана испытывает меня, быть может, его ледяной взор – всего лишь завеса, ширма, маска для кипящей лавы сознания? Недаром говорил он о пустыне и власянице! «Нет, что вы, доктор Стиг – Бог, как можно думать обратное», – сказала бы мне Фрида, если бы умела говорить, – «он может ходить по воде!». «Вот как, занятно, и вы сами видели это?». «Нет, что вы», – только и смутится она, – «как могу я докоснуться таких тайн? Люди рассказывали...». Ах, вот как, что ж, люди врать не будут, хе-хе...

Время идёт, красноречие стремится к нулю, и конструктивный пыл угасает – какие уж тут разговоры по душам?! Миккель Лёкк уклончив, капризен, вероломен и... неизменен в этом. Вероломен? Но не лучше ли быть неизменным в этом, нежели переменчивым в ином? Неизвестно, что лучше, а что хуже... Ему любопытны мои устремления... Взаправду ли? И только ли мои? Либо он так мытарит всех тут, стремясь к сближению, чтобы создать здесь атмосферу уюта, место, где все друг другу доверяют? Ха-ха, что за чушь! К чему выдумывать за него никогда не гулявшие в его голове мысли? На этом лице нет и следа переживаний, о, я знаю, о чём говорю – писательское чутьё обязывает – нет и не было, и с одинаковым взглядом он может как открывать увесистый талмуд истории болезни вновь прибывшего насельника, так и закрывать, под его чутким вниманием ставший ещё более увесистым, когда какой-то счастливчик отмаялся на этой земле, и, уж холодный, ждёт последнего дела здесь – резолюции господина Стига над заключением о смерти.

– Смейтесь, Лёкк, – укоризненно и с какой-то задумчивой усталостью в голосе замечает доктор, всё это время наблюдавший за мной, – я сказал что-то забавное, либо вам пришло что-то на ум?

Вряд ли надеется он на хоть какой ответ, но я отвечаю:

– Подпись, дорогой доктор – пара завитушек, да одна клякса, быть может...

Суцая бессмыслица – не правда ли?!

– Что, что? – переспрашивает.

– Цена жизни – подпись, без подписи ни одна душа не уйдёт на суд. Ну, и кто тут Господь Бог? Всё верно – тот, держащий перо...

– Не понимаю вас... – доктор будто давится словами.

А меня вдруг осеняет – этот характерный суровый скрежет, эта резь в горле! Не ослышался ли я? Злость, капля нетерпения, под острым соусом разочарования...

– Что, повторите? Не понимаете меня – так, кажется, вы сказали?

Доктор озирается по сторонам, не видя смысла также и в моём восторге.

– Да, не понимаю... Скажете, вас легко понять?

– К чёрту всё это, Стиг! – кричу, довольный. – Зато я всё понимаю!

Что ж, поглядим, что выйдет из этого. Вот доктор Стиг, – знаю его некоторое время непроницаемой ледяной горой, – и нутро его сотрясает, злость родилась в нём, чувство голода,

оно будет мучить его до тех пор, пока не утолить голод, не насытить страсть, злости не даровать свободы... Что могу сделать, чем «помочь»? Сорвать крышку, да! Если же оставить котёл бурлить на огне, он выгорит, ничего, кроме накипи и гари, не оставив.

И пока раздумываю над тем, как довести его злость до ума, доктор, оживляясь, возвращается к пустыне и власянице, и ему приходит на ум, будто я всячески уклоняюсь от ответа на мучающий его вопрос, а всё оттого, что у меня нечисто на совести – не выглядит ли это столь красноречиво?! Бессильная и нелепая попытка наткнуться на нечто новое... В ответ – ни слова против, а, разумеется, тут же сознаюсь в разных страшных преступлениях, в числе которых и подрыв «Лузитании»:

– ...Ведь у меня же был мотив, да ещё какой! Qui prodest – помните? На ней плыла моя двоюродная тётка, а уж за ней-то водились кой-какие деньжонки...

Молчание. Время ползёт гусеницей – незачем торопить её, все беды у нас от спешки...

Конечно, доктор первый пресыщается безмолвием.

– Короче говоря, беседовать со мной, как с человеком, благосклонным к вам, как с другом, вы не намерены, – подводит черту. – Очень жаль, возможно было достичь какого-то прогресса, по крайней мере, я видел свет в конце тоннеля.

Ба, он видел свет в конце тоннеля! Сейчас лопну от смеха и залью своей желчью всю «Вечную ночь» снизу доверху – он видел свет... Можете себе представить такое!

– Доктор, знаете историю о кошке? – спрашиваю.

– Не знаю, о чём идёт речь, – с подозрением косится он на меня. – Поделитесь? Или для этого тоже придётся ждать некролога?

– Отчего ж, милый доктор, слушайте: однажды в одном доме на мягкой подстилке лежала старая-престарая кошка, от роду которой было лет сто по их кошачьим меркам, и которая уж готовилась вполне себе так мирно отойти в мир иной, к своему кошачьему богу. А вокруг неё всё скакала да резвилась молодая кошка, совсем юная, единственная в своём возрасте, которую уж взяли для того, чтобы заместить ту, что вскоре бы умерла. Но оно и неудивительно – надо же кому-то ловить мышей, лежать тёплым комочком на руках хозяев, надо же кому-то, в конце концов, сидеть на окне и гордо поглядывать на прохожих, лоснящейся шкуркой на солнце показывать достаток дома. Так оно испокон века было, и так оно будет – старое уступает место новому, на прaxe вырастают новые цветы, молодые и свежие. И вот молодая кошка прыгает себе да прыгает, играет себе да играет, да вот беда, что одной, без компании, прыгать и играть в скуку. И вот стала молодость донимать старость: чего тебе лежится, это же так скучно, айда прыгать и играть, и никак не могла взять в толк, что может случиться и так, что прыгать и играть будет не в радость и не всласть...

Где-то вдалеке, быть может на первом этаже, или же во флигеле, настойчиво звонит колокольчик и, вдобавок раздаётся ещё какой-то шум – доктор отвлекается, прислушиваясь, а затем неожиданно с сарказмом и небрежностью бросает мне прямо в глаза:

– Очень интересно всё это, но сказки господина Андерсена я могу прочитать и сам!

– Это вовсе не Андерсен, как бы вам не казалось, – ничуть не смутившись, замечаю я.

– Ага, одна из ваших русских сказочек – жили-были... баю-бай...

– Тоже нет... Однако, позвольте мне продолжить.

На его лице – тень неудовольствия, именно тень, если только мне это не привиделось! Съел ли он ломтик лимона без сахара, либо уколол палец булавкой – непонятно, но в своём неудовольствии он затмевает Фриду: по ней никогда нельзя ничего понять без серьёзных умственных усилий, так что кажется, будто она и родилась с тем выражением лица, с той маской, какая на ней теперь. Но вот его каменное лицо обрабатывается столь умелым скульптором, что оно никак не может быть проводником творящихся в его душе событий. Поэтому, был ли он настолько зол, чтобы вспыхнуть – о, пожалуй, я до сих пор не могу быть уверенным в этом.

– А стоит ли? – задаётся он вопросом, обращённым, кажется, самому себе.

– Похоже, вам со мной всё ясно, доктор... – говорю.

– Далеко не всё! Кое-что понятно, всё же я имею некоторое представление о вас благодаря тем справкам, что навёл, но, признаться откровенно, в них ещё больше тумана, чем сейчас здесь. Однако, льстить себе вам пока рано – любопытство всегда рождает возможность, а мои возможности велики.

– Разве здесь есть туман, доктор? Да и туман ли это? Поверьте, тумана ещё не было, была возня, шёпот, да стариковский плач, слёзы. Туман будет потом, да такой, что вы, доктор Стиг, потеряетесь. Фрида будет ходить с фонарём здесь, как некогда один философ, и искать человека, вас, доктор – теперь здесь лишь вы – человек.

– Ладно, – доктор идёт на попятную, – что там с вашей кошкой?

– С какой кошкой?

– Вы рассказывали о кошке...

Я, удивлённо:

– В самом деле?

– ...О старой и молодой... – осторожничает доктор, чувствуя неладное.

Моё изумление достигает наивысшей точки:

– Ничего подобного не было, доктор! Мы говорили об Андерсене, сказочнике, разве вы позабыли? Я вспоминал одну его сказку, что очень тронула меня некогда, давным-давно, когда я ещё и знать не знал о вашей «Вечной Радости», и уж тем паче не думал оказаться здесь. Вы её тоже знаете, разумеется. Называется «Из окна богадельни»...

И неладное случается! Слово «богадельня» производит на доктора неизгладимое впечатление, гораздо сильнее, нежели «старая кошка», он буквально подскакивает на своём насиженном стуле

– Нет, не имею чести знать, да и слушать не желаю! – каменным голосом сообщает он.

И вновь скрежет – метал по металлу – резкий, протяжный, тоскливый... Ничего себе! Я-то подозревал, грешным делом, что «богадельня» кольнёт его, быть может, даже больнее, чем «хоспис», подозревал – всё же «хоспис» – это вовсе нечто обличительно-откровенное, безыскусное, от чего можно легко поворотить нос, а вот «богадельня»... Но, осторожность, осторожность... Не пересказать ли вам эту сказку, не разъяснить ли её смысл? Нет? Что ж, наверное, вам лучше было бы дослушать до конца о кошках – поверьте, история более безобидная.

– Напрасно не хотите, на мой взгляд, – замечаю, – такие истории кое-чему учат...

– Всегда не любил Андерсена, – выдавливая из себя доктор; нужно же ему что-то было на это ответить.

Я понимаю его, но всё равно продолжаю гнуть свою линию:

– Что ж, а господин Ибсен вам по душе? – спрашиваю.

Этот вопрос для него тем паче неожидан. Он хмурится и переспрашивает:

– Простите?

– Вам нравится Хенрик Ибсен, ваш национальный писатель?

– Причём тут Ибсен? – недоумевает доктор; в моих фантазиях это звучит примерно как «Я никогда не „лечил“ Ибсена, он уж изволил давно почить, но если бы случилось так, что я был бы нужен ему, то рад был бы принять его здесь».

– Просто хотел вам сказать, – говорю, – что вместо историй болезни, судебных отписок, и прочего барахла, тем более в свободное от напряжённой и изматывающей работы время, вам лучше было бы читать хотя бы Хенрика Ибсена, певца страданий. Это лучшее занятие для такого пытливого ума, как ваш, во всей Норвегии!

И певец страданий Хенрик Ибсен становится венцом, вишенкой на приготовленном мною для доктора Стига десерте – кушайте на здоровье!

Далее происходит нечто необычное, чего я точно не упомяну – противостоящий голос вдруг вздрагивает, густо насыщается родственным злости переменчивым отторжением:

– Чёрт побери, Лёкк! Да знаете ли вы, что одно моё слово (веское, кстати, слово в научном мире!) и всё для вас будет окончено?! Вы... вы живёте, как хочется вам, не считаясь ни с персоналом, ни с нашими жильцами, вы даже думаете отлично от других. Вы не плывёте в общем потоке, что было бы для вас благом, особенно, учитывая ваше положение, и что было бы удобно мне, вы всегда барахтаетесь где-то с краю – это существенно осложняет мне... кхм, да, существенно... Знаете, что намереваюсь я сейчас сделать? Отправиться к себе наверх и написать статью в медицинский журнал, вот! Спросите, что о чём она будет? Что ж, раскрою карты: некий мой пациент, известный писатель, будет уличён мною в осмеянии общественных норм и морали, в паясничестве, жульничестве и симуляции... Будет скандал, газеты спустят с поводков всех собак – ну, ещё бы, сам Лёкк, тот самый знаменитый Лёкк, не важно что и неважно как – это уж они горазды выдумать! – вот хотя бы... искусно симулирует недуг, а сам же просто скрывается от общественного мнения в глуши! Как, зачем, почему??? Им неважно право на личную жизнь и покой, им нужны сенсации! И вот именем Лёкковым пестрят передовицы, и вот подноготная – предмет толков, потреба зевак! Скажите, нынче пойдёт это вам на пользу? Молчите?

Одно слово – и всё кончено... Как же глупо!

Ха-ха! Что будет кончено, что? Жизнь, как явление божественное, вместилище слов, событий, борьбы и тайн, либо существование здесь, в ледяных скалах непонимания, в извечном томлении по тому, на каком боку спать? И то, и другое – жизнь, бытие, *existentia* – различия велики, но не так уж и значимы, если приглядеться. И кому угодно вам препоручить меня – Богу или Дьяволу? Кому обещали вы мою душу, над которой сам я не властен? Растрачена, заложена, пущена с молотка – убогая, чёрная, как смола – и отнесена в небесной канцелярии в разряд явлений рациональных, как старая покосившаяся ограда. Прежняя моя бессмертная мятежная душа!

Шутка ли, истина, но и впрямь грозит он, и по его убеждению, для Миккеля Лёкка можно назвать последствиями молву и толки! Для Миккеля Лёкка, чья жизнь уж... Бедный доктор! Не жар ли у вас, не лихорадка ли? Вам бы отдохнуть – зачем явились вы ко мне в законный отгул?

– Позор ужасен... – мнимая лаконичная горечь из меня так и сочится. – И бесценна репутация...

Понимает – заговорился, открылся, хватил лишку; редко когда на пользу это! И тут же морщится, и впадает в задумчивые терзания – по смятому, как промокашка, плавно переходящему в череп, лбу можно учить географию. И когда австралийский материк стремительно вонзается в Индокитай, он взрывает воздух признанием совершеннейшего тупика, в котором оказывается наша с ним беседа, и выхода из которого – ноль:

– ...Разве что день грядущий что-либо разрешит!

...Либо последующий – и так далее...

Всё же он искренне пытается задержаться: беда, что с предложением для этого – глушь. Лёкк же – каменный истукан, безмолвие – новое прозвание его. Никаких воздействий на себя не приемлю, никаким уговорам не поддаюсь, ухожу в собственные мысли, теряюсь там, даже не отвлекаясь на происходящие кругом события. Что остаётся доктору – уйти также, сизым облачком вверх, в пределы предвечного...

Он и впрямь оставляет меня – я даже и не сразу замечаю. Закрываю – открываю глаза... Его уж и след простыл – он исчез между вздохами, на лоскуты распоров мгновение.

Молчу, запрещаю говорить даже мыслям, обращаюсь в слух – в соседней комнате, у Хёста, доктор даёт отповедь несчастной фрёкен Андерсен – не слишком ли редко заходит та к своему подопечному? Если ж впрямь пренебрегаете вы своими обязанностями – берегитесь! На деле ж сиделка ни в чём не виновата – она регулярно бывает у старого Хёста, даже и чаще обычного – я обличил её исключительно в развлекательных целях. Лишённому движения ста-

рику, коим является мой сосед, будет забавно послушать эту вежливую ругань по его поводу – это не ахти какая, но всё ж забава.

В незакрытую доктором дверь вваливается Фрида собственной персоной – она была вовсе не под кроватью и не в шкафу, а где-то в ином месте, и я всё говорил впустую вчера, только стенам, бедолаге Мунку, да самому себе. Сама Фрида, как обычно, мрачная и с самой своей свирепой миной; в руках у неё ведро и швабра – насмотревшись на бардак, доктор послал её прибраться.

Несчастий доктора Стига мне недостаточно, и я берусь за Фриду, грязно презрев собственное обещание никогда больше её не беспокоить.

– Фрида, недавно здесь был доктор Стиг, мы мило поболтали, как старинные приятели; он сказал, между прочим, что ты вообще не спишь! Этому был удивлён я несказанно; то, что ты не ешь, не ходишь в церковь по воскресеньям, и не считаешь Христа как нашего Спасителя, я давно знал, но разве ж ты настолько чудовищна в своём отрицании всего самого святого, что решила отринуть и сам благодный сон! К чему я затеял это? К тому всё, что я бы хотел, чтобы ты приходила ко мне так же по-свойски, совсем как наш дорогой доктор, и мы с тобой разговаривали, ибо более разговорчивого человека, чем ты, я не встречал доселе. Это ровным счётом ничего тебе не будет стоить, коли уж ты совсем не спишь, а только дышишь у меня под кроватью, так вылезай оттуда в один прекрасный день и мы просто поговорим. Даже такому, как я, порою бывает одиноко...

С незыблемостью философа-стойка переносит Фрида все мои бредни, не отрываясь от своих дел, только изредка пожимая плечами. А я искренне уповаю, что дело всё же дойдёт когда-нибудь до того, что она будет креститься при виде меня и бормотать «отче наш». Лишь бы её саму прежде не сожгли на костре, как ведьму и еретичку.

III

Вечером в мыслях ярким лучом – Ольга! Которая из них – та, память молодости, далёкой исчезнувшей жизни, либо эта, земная и грешная – неведомо: из неё под пытками будто бы вырвано обещание явиться сегодня. Появление это разрешило бы некоторые вопросы, да...

...И вот радостная истома ожидания затягивает, опутывает!

Чисто, аккуратно в моей берлоге – благодарение терпеливо снёшей старики издательства Фриде! – и ты могла бы прийти, без лишних никому не нужных церемоний, рухнуть, совсем как вчера, снегом по темени. А явишься, мы потолкуем; ни сигар, ни виски, не страшись, не будет. Всё просто и ясно – слова и только!

Нет-нет, знаешь что, глупец, простофиля – имя мне, вот! Как можно! Вовсе не станем говорить мы, именно это – лишнее. Только слова всегда всё портят, согласишься? Так к чему они?! Люди болтают без умолку обо всём понемногу и ни о чём, и за болтовнёй забывают смотреть друг другу в глаза! Как же мудра, ей-богу, давшая обет молчания природе Фрида – гораздо легче понять и принять её с украшенным массивным амбарным замком ртом, ключ от которого давным-давно потерян. И с тобой, думаю, лучше будем немые – взгляд, дыхание, ощущение, ничего иного: быть может, тогда проблем будет меньше, а больше – согласия, гармонии.

Нужно хранить безмолвие и со всеми остальными! Ха-ха, не встанет в труд то, что никакого труда не стоит!

И с доктором, и со старухой Фальк, и с соседом, косматым медведем Хёстом, наконец?

А будто другие они, из иного теста, из иных костей? Будем перемигиваться... От доктора ничего путного так и не слышано – дурацкие вопросы, упрёки, и только. Хёст? Рот его – пропасть, что ушло, не вернётся, и даже отзвука дожидаться обратно – тщета; лицо – маска, гипсовый слепок изувеченной жизни. Единственно глазами только и сообщается Хёст с миром: моргает сиделке – раз, два, три – подаёт условный знак, да косится в вырез на массивной её груди, вряд ли осознавая, правда, зачем именно. А старая дама... Вот с той-то не наморгаешься! Слова вылетают из утробы её, как из пулемёта, и заткнуть её не под силу никому – разве что смерть сумеет. Что делать с вдовой и ума не приложу. Впрочем, если впрямь решусь отмалчиваться, то, видимо, будет всё одно, говорит ли она со мной, нет. Пусть болтает тогда о чём угодно, и кого угодно поминает – супруга ли, короля Норвегии, германского кайзера или Императора Всероссийского.

Кстати, запаматовал, кто был её супругом? Не Папа ли Римский!?

Нет, так ничего и не решено! Нелегко радикально изменить заведённый уклад жизни... Лёгка, видите ли, окружают высокие монастырские стены, где веками наполняют своды одни и те же заунывные песнопения, и где временем выпестованный устав. Нелегко пролезть туда со своим...

Увы, напрасно, напрасно развлекаю себя пустым упованием – она не появится, не согреет рукою плеча, не коснётся взглядом!

Но всё же жду терпеливо – что ещё остаётся?! – до самой темноты, до тех пор, пока звон склянок, горшков, скрип костей и дребезжащее шарканье ног не замирают совсем. Прильнул жадно к окошку: ни облачка в выси, черничная бездна, выше самых высоких гор, и, естественно, несравнима с ними по красоте, ведь и от гор рано или поздно устаёшь, от бездны, захватывающей дух – никогда. Засеяна пашня Млечного Поля, и вскоре пойдут, ударятся всходы в рост в помощь тяготящимся бессонницей философам да молодым повесам, охмуряющим девиц.

Ольга, знаю, и ты не спишь, а взглядом ласкаешь урчащие от удовольствия звёзды. Приходи, будем ласкать их вместе...

Истомление мережит взор – кто будет собирать урожай, когда настанет время страды? Резь в груди; зубы скрипят, а руки... руки замком на шее. Это должно быть грёзами счастья: вот руки перестают повиноваться, руки обретаю разум и свободу, а цель их – положить конец всему. Одно усилие, всего лишь, одно неуловимое движение... Всё, что было опасного у меня, забрали – ни ремня, ни шнурка, ни даже тупого ножа для разрезания газет – а руки в который раз подводят... Счёт подан, а руки бессильны оплатить его, и разум не восполняет их; ходить, говорить, орать благим матом – ради бога! – расплатиться – нет. Этим снам сбыться не суждено! И вновь с дрожью заворачиваясь в одеяла, через всё нарастающий дурман боли тянусь, точно за телом Христовым, за пунцово-красной облаткой...

Сейчас, сейчас всё пройдёт, будто бы ничего и не было.

Голова гудит, переливаются колокола внутри, мысли так и дёргают за язычки – сомнительная неверная эйфория вместо сна! Хлоя, Ольга, доктор... Круговерть, хоровод, свистопляска!

Чудак – доктор Стиг! Впрямь полагает, будто держится Миккель Лёкк за сытое, вальяжное и вялое существование, по сути медленный аутолиз?!

Всё меньше и меньше ходит по комнатам он, предпочитая слушать или читать доклады сиделок – на основании этого разрабатывается проблематика диссертации и строчатся статьи в умные столичные журналы. Вот, Фрида пишет ему о Лёкке... О Лёкке, в самом деле? Да, о том самом, писателе, с которым потягаться вздумалось ей в прозосложении – речи-то, видите ли, так и не обучили бедняжку! – сколько сигар выкурил, сколько бумаги попортил, сколько раз обозвал язычницей её, а Его Величество Короля – отжившим рудиментом прошлого (ведь все русские – безумцы и революционеры, не так ли?), и тому подобные преступления против здравого смысла. Всё красочно живописует она, и сверх того – точно знаю, ведь молчуны всегда больше писатели, нежели ораторы, – виниловая пластинка, крутящаяся в чугунном котелке на её плечах, всегда вовремя переключается, на ней красивенькие мелодии, аргентинские танго, штраусовская полька, но ровным счётом ничего величественного, ни Вагнера, ни Грига. И этот танец отплясывает она доктору на печатной машинке! Тот листает уныло, – глаза мутны, слипаются, – и зевает, едва не уткнувшись прямо во Фридину писанину, а затем подшивает в папку с именем Лёкковым и не проставленной датой неизбежного; в разуме ничего, кроме шальной мыслишки сесть за Ибсена, как я советовал, а сверх того – скомканная седая усталость.

День, казавшийся бесконечным, окончен. Вроде бы и хочется остаться ещё, поразмыслить, но... не о чем, а тужиться, выискивать повод... Баста!

Вежливо чертыхается, хлопает кулаком по столу, щёлкает кнопкой светильника, и... прочь из опостылевшей мансарды. Тяжкие шаги на мраморной лестнице, последние наставления дежурным, стук двери, зазорное бульканье автомобильного мотора... Путь неблизкий, но благодать ночи станет путеводной звездой, отдохновение – маяком.

Счастливого пути!

Луна подмигивает в окошко, мягкий свет проходит сквозь замызганное стекло и широко разливается по комнате. Ночь морозная и безветренная, такая ночь – редкость в это время, такая ночь рождает радостное смятение в больной груди, это чувство застит накатывающие сквозь всё ещё неостывшие воспоминания волны боли. Смогу ли продержаться до следующей красной – Бог знает! То, что зачиналось надеждой, святой по сути, крошится, разваливается разочарованием.

Поднимаюсь с кровати, медленно, грузно, тащусь в дальний уголок, отгибаю половицу – кое-что припрятано в тайничке! Сигара! Бесспорно, это самое то, что мне теперь необходимо! Если коротать время так, то, быть может, удастся забыться даже в бессоннице, обмануть боль, и поприветствовать утро, а вместе с ним обход, прежде срока. А, быть может, сама Смерть явит мне милость, и проникнет в меня вместе с этим сладким дымом?

Потом ложусь вновь, глубоко затягиваюсь, и вдруг... падает на ум крамола – а существовала ли ты вообще когда, Ольга? Не выдумана ли мною ты, с таким именем, с такой судьбой, с такими словами, смуглая и черноглазая – образ далёкой, утерянной безвозвратно жизни, след её тоски? Ведь сочинитель же я, выдумщик неведомых миров и нездешних зарниц! Не надеюсь ли сам я первую встречную незнакомку всеми мыслями и чувствами мнимого человека, сливаю воедино с Ольгой, и разрываю на части тут же? Ни в коем случае, нет! Если думать так, то что же с моей собственной жизнью? Существовала ли она также? Ходил ли по земле и камням этим такой человек, Миккель Лёкк, писал ли книги, слагали ли стихи, любил ли, ненавидел?.. И в небе – гляди-ка! – созвездия складываются в моё собственное имя, не это, набившее оскомину, выдуманное моей супругой для шведского консульства, а то, русское, которое я уж и позабыл... Известное в монархической печати, в окопах Великой Войны, которую я, будучи негодным к службе из-за болезни позвоночника, прополз корреспондентом, знакомое и ей, Ольге – теперь сам стал я слышать его произнесённым её низковатым для такого хрупкого существа голосом. Протягиваю руку, касаюсь дрожащими пальцами забавных звёзд, щекочу – вот, теперь вы только и знаете его. Что ж, и того достаточно, а возможно и больше того, что нужно – достоин ли я этого? Звёзды – вечны, они были всегда, а человеческая память...

Хлоя гадала по картам для меня, – занятие недалёкое, но, тем не менее, завлекательное для благородного общества, в том числе и для нашего местного общества туземцев (можем мы, разве, быть не такими, как все!?), где заводилой и духовным вождем, конечно же, то и дело связывающаяся с легендарным супругом своим по космическому телеграфу вдова Фальк. Одна дама, американская журналистка, делая материал, излишне ретиво любопытствовала, гадала ли на картах Лёкк, увлечён ли спиритизмом, верит ли в Атлантиду за Геркулесовыми Столпами и агрессивных жителей Марса, живёт ли, одним словом, полноценной жизнью человека двадцатого столетия? Дурное, вовсе не для развёрнутых интервью, присутствие духа отговорилось тем, что, как активный член масонской ложи, Миккель Лёкк вправе метить на пост президента Соединённых Штатов, ибо в тибетские ламы не годится из-за европейского облика и скепсиса в существовании бесконечных перерождений души. В газете же, по такому случаю, нарочно для понятливой американской публики, было особо оговорено, будто некая беда стряслась с писателем Лёкком, и отношение к реальности его перестало выдерживать всякую критику. Старые добрые газеты, они всегда оценивали Лёкка по достоинству, равно как и суды, что уж тут говорить!

Так о чём это я? Да, о картах!

Многое грядёт ещё, многое... Долгие годы, обаяние удачи, вихрь счастливых событий, утверждает Хлоя – это поведдали ей карты. Она божится, что не лжёт, и даже вполне беззаботно смеётся, она полна планов относительно меня, и хочет отладить свою жизнь, наконец, чему её блаженный родитель непременно обязан поспособствовать. Что ж, конечно, ложью тут и не пахнет – обманывает не Хлоя, сама обманутая, и не кем-нибудь, а своими картами. В любом случае, гнилые пеньки, прелая листва, и мрачные заморозки утрами отвращают от Хлоиных надежд в сторону противоположную, и никто ничего с этим не сделает.

Утолив сигарную тоску, приоткрываю окно для проветривания, сам же тихонько ныряю в темноту и сомнение коридора, и на цыпочках крадусь к Desdichado Хёсту, рыцарю тайного ордена «безнадежных», тайного оттого, что для них самих происходящее – тайна, для остальных же – табу. Лежит-полёживается себе всё в той же поре, – смены времён года в этой комнате будто бы и не произошло, – что и добрый месяц назад, с зияющим провалом рта и глазами, намертво прилипшими к потолку; со стороны казался бы спящим – кабы не глаза... кричащим намёком на недоразумение. И крахмально белый платок у изголовья на тумбочке – неизменен, положенный с намерением, чтобы сиделка либо кто-то иной, пришедший, промокал бедняге рот.

– Доброй ночи, Хёст, старина, – беру платок, прикладываю к его бледным губам. – Чудесная ночь, не правда ли? Месячная, ясная, насыщенная звёздами и недоразумениями... Такая ночь, говорят, более всего подходит для гаданий и ворожбы! И знаешь что: я раскидывал нынче картишки по твою душу... Что поведали они? Хо-хо! Послушай только: ты будешь жить ещё долго-долго, и даже возьмёшь в жёны фрёкен Андерсен, твою сиделку. Каково?!

Ответом слабое моргание – так, едва-едва, и морганием-то не назвать, будто нервный тик – это означает, что он вовсе непротив, и даже скашивает губы в подобие ухмылочки.

Старый негодник, даже и представить трудно, чего это стоит тебе...

Утром следующего дня с далёкого моря по всем горам, в долах и лесах – туман; обрывками всклокоченных парусов, тусклыми хлопьями безликого воздуха встают во весь рост среди едва видимых деревьев призраки и тянут к нам, всё ещё живым, руки.

И «Вечная ночь» исчезает, взмывает вверх, теряется в густых покровах, будто и нет её вовсе, и всё, связанное с ней – иллюзия.

Немногим делится окно... Ломтик шуршащей в мгlistом забвении аллеи, да размытые очертания чаши заброшенного фонтана, откуда одинокий Самсон вытягивает за каменную гриву обрубок могучего льва. Всё прочее – несущественно, нематериально! И напролёт всё утро, такой же несущественный, Миккель Лёкк – у окна, и даже ставит себе стул подле – наслаждаться видом... бесцельно, сладостным ощущением вечной отрешённости от всего земного, от сиделок, таблеток и доктора. На такое-то время и шумы из коридора, кажется, теряются где-то в тумане.

В дверь стучат, сперва тихонько, спокойно, затем настойчиво, наконец, громыкает артиллерийская канонада, заградительный огонь... Конечно, это Фрида – самое время для неё! Доктор всыпал ей по первое число – я слышал! – за то, как врывается она всюду без стука, хе-хе; нелепая нелетающая птица, подранок – бейся, бейся... Но я не шелохнусь, ей-богу, даже не подумаю; в конце концов, и эти нелепые удары в незапертую дверь уже не воспринимаются, приглушаясь, сливаясь со стуком сердца в единый такт, и я убеждаю себя, что это именно стучит сердце, и свято в это верю. И ничего иного не остаётся Фриде, как делать то, что всегда она делала до этого замечательного повеления доктора непременно стучаться, а именно ворваться ко мне без пышных китайских церемоний. Давно пора! Непочатый край работы: насупленная, кидается заправлять измятую постель, подбивает подушку – перья так и летят – смахивает пыль и со стола, ворошит, раскладывает по стопочкам записи...

Объявляется следом, с отрешённой миной в лице, и доктор (вовсе без стука – как же так!), о чём-то говорит, интересуется – самочувствие, настроение, литература, театр, шахматы, что-то ещё. Ну, заходит себе и заходит: никакого внимания ему не перепадает. На что собственно он надеялся? Ведь снаружи, в прорве тумана – нечто занимательное, тем временем, привлекающее внимания куда больше этой парочки: вдова Фальк... Вот она, вернулась! Ровно пять дней ни слуху, ни духу, пять длиннющих угрюмых злых дней и ночей, и вот... Но что-то не так. Что же? Тело в плетёном кресле, оболочка, футляр, удушенная одеялами неприкаянность – впрямь она, госпожа Фальк, не кто-либо? Неестественно живая для подгнившего нашего бомонда, целостно-деятельная, насмешница, фантазёрка... Успевала повсюду, везде вставляла своё, веское и не очень, слово, всем была мила и улыбалась – также всем! Она??? Эта беззастенчиво-трогательная личинка? Нет же, нет! Враки, насмешка! Где кустистый, коралловый смех; где волшба и знахарство; где азарт, чёрт побери, юношеское беззубое побуждение обыгаться в преферанс, чтобы затем восторженно спустить куций выигрыш? И вот... кресло на колёсах – переднее правое погнуто и скрипит – в нём – нагромождение из плоти и тряпок (причём второго видимо больше) возимое взад-вперёд по мощёной камнем дорожке в буковой

аллее, от кованых парковых ворот до крыльца! Доброе утро, госпожа Фальк, давно не виделись! Да, да...

Всё ещё не верю, протираю глаза, присматриваюсь: вдова, ни с кем её не спутать! И недвижимая, в кресле, так оно и есть! Молодая особа плавно, со знанием дела ведёт вдовый транспорт через неровности, словно гондольер посудину по Canal Grande, не трясая слишком по ухабам. Не сиделка, не из местных – смугловата, в тёмном пальтишке и берете – кто это, откуда? Сочная, полная сил, молодость на фоне немощи смотрится в столь выгодном свете, что мне становится жалко самого себя.

Вдова Фальк, меж тем, замечает меня в окне, и тычет пальцем, и трясёт рукой, и ослабляется невообразимо отчаянно глупым оскалом. Смятённый, дрогнувший, приподнимаю руку в ответ: странный дикий спектакль, срежиссированный неумело, неискренне... Схлынь, навajдение! Так я и поверил – неумно, дёшево, скользко. Сейчас, сейчас поднимется она и пойдёт задорно, поскачет, да, поскачет молодой кобылкой, как всегда, от самого рождения до сих пор, по жизни... Ведь встанет же, ведь пойдёт?!

Замечает меня и девица – пристальный, но молниеносный взгляд обжигает до самого нутра! Мгновенный резкий поворот, и вот уж старуха под скрип колёс увозится совсем в другую сторону от ворот, вглубь парка параллельно ограде, куда отходит широкая, обсаженная криво подстриженными кустами сирени, аллея. Очень скоро туман, облизываясь, пожирает обеих.

Ток сквозь тело, и всё оно приходит в движение. Если б не увезли так вероломно её, то она бы поднялась... Поднялась, известное дело! Зачем увезли её? И кто это возле? Смугловатое круглое лицо, тоненькая фигурка, и, кажется, глаза чёрные... Чёрные! А взгляд? Не прожёт ли насквозь он, не заставил ли трепетать? Любопытство пленяет, рождается предвкушение: мне вдруг становится занятно возобновить утомительное прежде знакомство с вдовой Фальк, расспросить её, о чём прежде расспрашивать не доводилось; сказывали, бравый супруг её во время гренландско-новогвинейской войны зашиб кулаком сразу пятерых поляков.

Действие, поспеешь ли за мыслью? Скорее, скорее! Старуха узнала меня, подняла руку – я подойду к ней, отобью поклон, выдавлю из себя пару не бог весть каких любезностей: «Как вы хороши нынче – посвежевший цвет лица, сияющий взор, бархатистая кожа...», а сам буду коситься в сторону, совсем на другую, и виниться самому себе, какой же всё-таки вздор несу.

Мигом к шкафу – отпираю, осматриваю пальто... Увы, оно всё побито молью – без единого живого места; мои желания обращаются в прах.

– Доктор Стиг, будьте любезны одолжить мне пальто?..

Оборачиваюсь – его уж и след простыл! Был он здесь, человеком или привидением – не знаю, однако теперь его нет, как не бывало, ни его, ни Фриды. На краешке стола – холодный кофе, таблетки, стакан воды...

Какие могут быть таблетки, о чём вы! У меня нет пальто, я прикован к собственной комнате, я одинок и несчастен, как щербатый каменный Самсон – но у того хоть есть лев...

Одинок и несчастен, в самом деле? Ха-ха!

Трясу головой, до боли, до тех пор, пока земля не начинает уходить из под ног.

Что за чёрт – с коих это пор досадует Лёкк на одиночество? Либо старость берёт своё вместе с болезнями и немощью, либо с головой у него и в самом деле беда. Одинок и несчастен! Подумать только!

Обед, в кои-то веки, принимаю в столовой среди насельников, выхожу, так сказать, в общество; завтрака даже не нюхал, и всё для аппетита! Острословами прозвана столовая

весьма звучно – «кают-компания», но откуда это повелось – неизвестно, хорошая память, как и любой предрассудок, у нас не в чести.

Признаться, здесь замешана корысть: с утра ходил сам не свой, была нужда свидеться со старухой Фальк, а она – душа общества и всегда там, где больше всего народу, а в столовой как раз таки и собираются почти все, кроме лежачих да мизантропов-меланхоликов, вроде меня. Но ирония судьбы такова, что старухи там не застаю; видимо, она отобедала и уже ушла, либо ещё не появлялась. С кем ни пошепчусь – разводят руками: дескать, и сами поражаемся! «А не видел ли кто нечто любопытное с утра, кресло на колёсах на аллее или же?..». – «Что вы, что вы! Такой туман, хоть глаза выколи...». Ну, что ж...

Выжидаю, разглядываю общий стол – уродливо-громоздкое дубовое чудище – нахожу холодное, сиротски пустое место вдовы. Нетронуты и прибор, и аккуратная, в атласной манишке, стопка Карлов, Людовигов и прочих – до и после трапезы она всегда имеет обыкновение раскладывать пасьянсы и оказывать насельникам определённые мистические услуги. Вот мечет она землистыми руками карты; вот даёт толкование червовой семёрке в короле треф; а вот, с самым что ни на есть серьёзным видом, напустив страху, упреждает товарку, госпожу Визиготт, такую же глубоко «молодую» особу, о пиковой даме, сопернице. Перемещаясь утренними туманными образами тела в кресле, это так и стоит пред глазами – отныне, видимо, навсегда!

Вздрагиваю невольно: навсегда?!

Вдовы нет, но появится ли она здесь вновь? Пусть бы и не теперь, а иным, солнечным и весёлым, не как нынешний, деньком, завтра либо через недельку-другую, да хоть когда... Наверное, лучше внушить себе, что да, разумеется, ещё увидимся – так легче! Наверное, вера лучше сомнения: всю жизнь купался, как в чистом источнике, в сомнениях, и вот по-детски простодушно сокрушаюсь о своей наивности...

– А, Лёкк! Миккель Лёкк!

...Впрочем, не одному мне наброшена на глаза паволока тьмы, не одного за нос водят противоречивые сладкоголосые ощущения – порой кажется, будто мы окружены ими, варимся в мутном бульоне забывчивости, чтобы быть поданными в Родительский День родственникам нашим к замечательному сервированному столу...

– Лёкк! Добрый день!

Вздрагиваю: то, чего никак не хотел, произошло – я замечен окончательно; из задумчивой пыльной, на обочине, статуи обращаюсь средоточием внимания, как новый ученик в классе, и тут же, смущённый, отступаю в серую тень. Я всего лишь желал переговорить с госпожой Фальк, но раз уж её тут нет, то позвольте мне...

– Добро пожаловать! – чрезвычайно тучный, с лоснящимися воском щеками, господин Фюлесанг всеми правдами и неправдами протискивается ко мне. – Господа! Ведь это Миккель Лёкк! Посторонитесь, посторонитесь же!

Аппетит улетучивается, но уходить поздно, обед подан – слышу, что и без старухи вкруг стола не холодно и полыхает зарница спора. Сжимаю прелую Фюлесангову ладошку, учтиво киваю остальным, отвечаю, как могу, на любезности, присаживаюсь... Что за концерт? Первая скрипка – немец, герр Шмидт, мой знакомец и, прежде, до Хёста, также и сосед, обитающий нынче в другой, лучшей комнате; он составлял мне компанию в посиделках с сигарами, за что ему, полагаю, прилично досталось от доктора – здоровье, понятное дело, нужно беречь, тем более безнадежно утраченное. Потом наши пути разошлись – его состояние ухудшалось одно время, прикованному к постели «под страхом смерти» к нему не пускали гостей, но теперь, слышу, голос его вполне бодр. Разве что... выглядит он нынче куда хуже прежнего, должен заметить, с изрешечёнными глубокими морщинами щеками, с тёмной, в старческих пятнах, плешью, невыразительными, тусклыми глазами... а между тем он немногим старше меня. «Послушайте, послушайте, – шепчет мне в ухо Фюлесанг, – вас заинтересует...». – «Чем же?».

Шмидт рассуждает о войнах, политике, и роли своих соплеменников в истории; он говорит со знанием дела и с изрядной осведомлённостью, из чего Фюлесанг заключает, что Шмидт регулярно штудировал свежую прессу. «Немногие здесь получают газеты, – вздыхает Фюлесанг. – Конечно, всё это для отвода глаз, чтобы не сесть в лужу перед обществом... Впрочем, это не облегчает моего положения...». – «Положения?». – «Да, Лёкк, я умолял его выделить и мне хоть подшивочку, но он делает вид, будто всё это вздор и ничего такого нет и в помине!». Соглашаюсь: Шмидт – человек до неприличия скупой, что есть, то есть. «Вот-вот!», – Фюлесанг вдруг лиловеет, будто бы наверняка зная, что оговорил невиновного и умолкает.

Противостоит Шмидту профессор Сигварт, сухонький долговязый старичок с клочковатой растительностью под носом и на подбородке и острым живым, чуть смеющимся, взглядом, похожий на хитроумного идадьго Дон Кихота со старинных гравюр; он также увлёкся и говорит, как заворожённый. Уж этому-то, думаю с некоторой спонтанной симпатией, газет наверняка не жаль!

– Германия, милостивые государи мои, – вполне себе здраво провозглашает Шмидт, – суть средоточие всех созидательных сил Земли и духа модернизма, не чурающаяся, в то же время, великого прошлого, именно на нём, собственно говоря, и поднимающаяся! Молодая поросль пробивается на железном поле в огонь костров, через марксистское мракобесие и монархическую немощь. Никому не под силу остановить этот бурный рост! Если Британцы задумают обрезать эти ростки, если эти невнятные Болдуины-Чемберлены или кто там у них ещё есть, поднимут на них руку со своими ножницами, эту руку им оторвут; если поднимет голову какой-нибудь француз, возомнив себя новым Бонапартом, найдутся люди к востоку от Эльзаса, кто даст ему по этой голове. Америка слишком далеко и занята исключительным самолюбованием и самовлюблённостью, доллар стал им богом и совестью, будь они прокляты. Рим? Засилье глупости и порока, говорю я вам. Рима больше нет! Он закончился в тот момент, когда все эти Медичи и Сфорца стали сажать в Ватикан своих родственников. Все эти государства нелепы и ничтожны по сравнению с юным, полным сил народом, набирающим силу на своей земле, у них нет будущего, у нас, германцев, есть.

– Всё это близко к истине, – не менее здраво возражает профессор, – если бы не одно «но». Как бы ни были... слабы указанные вами нации, объединившись, они ни в коем разе не дадут Германии, обрастая мясом, вновь осознать себя империей – наивность дорого им обошлась, ох, и дорого же – никто не будет более заигрывать со львом, место которому – в клетке.

Шмидт только и усмехается:

– В клетке, ха-ха! А теперь Германия не империя ли?

– Трудно сказать...

– ...Пережив позор, обновившись-то, Фениксом восстав из компьеньского пепла... Быть может, вы чего не заметили? Лев в клетке – надо подумать! Раскройте глаза!

– Трудно сказать, – осторожничает Сигварт, – экономика демонстрирует несомненный рост после всех невзгод – инфляции и так далее... национальный дух опять же...

– ...И новый национальный лидер, вождь, ведущий страну к доселе невиданным высотам?!

– Вождь... Возможно...

– ...И все программы, союзы, прокламации! Каково!

– ...Но всё же союзники...

– Ах, союзники! Антанта! Чепуха! – клоочет Шмидт. – Чепуха, говорю я вам! И привязались же к этим союзникам! Где они, где, скажите на милость?! Заняты грызней, самолюбованием, отягощены волнующимися колониями... Да и вовсе уповать на согласие между бывшими союзниками – глупость, никогда не быть им настолько близким, чтобы дать отпор бравому пруссаку.

Лицо Сигварта проясняется, он держит удар:

– А не забыли ли вы, Шмидт, одного восточного зверя, который всегда дремлет до поры, пока не приходит время спасти Европу от очередного антихриста? Боюсь, забывчивости вашей не разделяют бравые прусские собраты – бывало, им доставалось, когда они, полные самонадеянности, заходили в тот лес, где сей зверь обитал.

– Вы имеете в виду польского орла? – со всей серьёзностью спрашивает немец. – Ну, так орёл – птица, а вовсе не зверь.

Приглушённый смех за столом.

– И ребёнку ясно, что я имею в виду русского медведя, – улыбается профессор, и для пущей наглядности бросает взгляд на меня.

Теперь очередь смеяться Шмидта:

– Что я слышу, дорогой профессор, вы серьёзно? Вот уж не думаю, будто мы когда-нибудь вспомним о данном звере, уверяю вас, и скорее турки вновь обретут некое подобие силы, нежели русские вернут себе былое могущество.

– Турки и рядом не стояли рядом с русскими, – с претензией утверждает Сигварт, – даже когда они держали в страхе всю Европу и могли, как по паркету, с музыкой парадным маршем, от Босфора дойти до Вены, русские побеждали их. Но речь вовсе не об этом – я, в свою очередь, уверяю вас, что Германии не бывать более настолько сильной, чтобы дойти до мирового господства. Великие державы неохотно разыгрывают такие карты, и едва только голова немцев начнёт подыматься, как против них возникнет коалиция, равной какой прежде не было даже и в прошедшую войну.

Наконец – я всё ждал этого, и вот случилось! – речь за столом заходит о двумя годами ранее ставшем канцлером в Германии Гитлере. Но помимо виновато шепнувшего мне: «Гитлер, всё-таки, голова!» Фюлесанга, никакой поддержки Шмидт здесь не обнаруживает – общество вдруг оказывается слишком увлечённым трапезой. И в это время я чувствую на себе пристальный взгляд бывшего немецкого подданного и бывшего моего приятеля. В этой среде мы – единственные иностранцы, и он, разумеется, ищет у меня союза, несмотря на то даже, что только выставил в невыгодном свете Россию, спутав её с Польшей. Все норвежцы за столом единодушно высказались Гитлеру в неприятии, а профессор Сигварт изрёк, как на месте «этого австрийского солдафона-баталиста» в более выгодном свете смотрелся бы кто-то более культурный и образованный, например, писатель либо учёный:

– ...Хоть в целом политика его лично мне безразлична! – и тут же примеряется к этому посту парой-тройкой собственных, куда более, по его разумению, достойных кандидатур, Эйнштейном, вот, либо известным Фейхтвангером...

Благодарение Богу, что не Кафкой!

– Нет, ну по сравнению с этими, Гитлер – душка! – беззаботно мило, стараясь приободрить немца, болтают дамы, но лишь приводят бравого антисемита Шмидта в inferнальное бешенство:

– Фейхтвангера?! – побелев, кричит он, демонстрируя обществу совершенное знание творчества данного литератора. – Этого жид! Нет, вы все не в своём уме!

...А сам между тем под столом отчаянно давит ногой мне на носок башмака: пробудитесь же, впавшие в летаргию политические чувства – ну же, Лёкк, ну... Что ж поделать: аргументы, верно, на исходе, и, подобно утопающему, он немолчно взывает к руке божьей, к спасательному кругу, ко всему, что может явиться на помощь, если это уже не агония.

Понимаю, чего хочет от меня Шмидт, но сам уже давным-давно далеко отсюда, в своей комнате, курю свою душистую сигару, вдыхаю чад. Когда воспаляется, нарывает тоска, мне решительно безразлично, разгорится ли война, и кем будет развязана, – Гитлером или королём Болгарии, – кто на кого нападёт первым, – люди, разбивающие яйцо с острого конца или разбивающие с тупого, – и сколько народу пожрёт это всепоглощающее пламя. Ум сдаётся

на милость желаниям, стремится к отдохновению, свет потихоньку начинает уничтожать меня, делать бессильным, и обращается мне смертельным врагом.

И мне теперь точно не до Гитлера, не до политики, не до польского богомола! Пропавши оно всё пропадом!

– Шмидт, у вас есть пальто? – морщась, спрашиваю.

Сигварт уже посмеивается, предвкушая полный разгром противника; он полагает Лёкка за своего союзника, будто бы с намерением начал тот нести всякую чушь не по делу.

Немец открывает рот от удивления:

– Пальто! Есть ли у меня пальто?

– Да, пальто, – говорю, – чего тут непонятного?

И в голове не укладывается, восстаёт: посреди разговоров о судьбах Европы, всего мира даже, русского занимает какое-то пальто!

– Пальто... – Шмидт шевелит сухими губами, и далее, странно дёрнувшись, опустившимся, угрюмым голосом: – Какое такое пальто, не угодно ли объяснить?

За столом вновь разгораются отдельные всполохи смеха.

– Пальто, – говорю, – длинное, тёплое, с рукавами...

Шмидт становится жалким и будто уменьшается, всасывается в свой стул. Смешки усиливаются, перетекая во что-то родственное улюлюканью.

– Но как же это... зачем...

– Чёрт возьми, Шмидт, – кричит раззадорившийся, вечно красный, Фюлесанг, – вы не знаете, что такое пальто?! А мы считали вас образованным человеком...

Шмидт открывает рот – в воздухе шлепок откупориваемой бутылки – но молчит.

– Нет-нет, господа, – говорю, – не спешите! Подозрения господина Шмидта небеспочвенны. Пальто... пальто – это... как бы объяснить – не совсем предмет туалета.

Фюлесанг чуть не падает со стула.

– А что же это такое?

Я, серьёзно:

– Аргумент международных отношений, да!

– Что, что? – Шмидт будто бы пробуждается от летаргии. – Аргумент чего?

– Международных отношений, дорогой Шмидт, столь вами любимых – говорю я, и далее, под лавинообразно нарастающее веселье обеденного скушающего общества разъясняю: – Вот полюбуйтесь: шерсть – английская; пуговицы и фасон, без сомнения, по парижской моде; дурацкий хлястик облезлым песьим хвостом – позади, неизвестно зачем и отчего, но вроде того, как на шинели кайзеровского образца; и, да, конечно: длинное двубортное, на меху, с отложным мохнатым бобровым воротником – красота да и только! – едва ли не русское... В общем, от каждой нации понемногу и того, и того, в общем, политическая коллизия, Мировая Война, помимо всего прочего, в общем и целом! Понимаете вы?!

Ничего не понимает – багровеет, затем становится лиловым, и начинает трясти головой, точно умалишённый, досадуя и сказываясь тяжко оскорблённым. Маленькие живые глазки, помутнев, стекленеют, и, того и гляди, выкатившись из орбит прочь, зазвенят об пол тысячей мелких осколков.

– Ну, дружище, не принимайте близко к сердцу, – едко говорит профессор под гиканье общества. – Стоит оно того? Удача – дамочка норовистая, улыбнётся вам в иной раз!

– Да, да, Шмидт, бросьте! – милостиво поддерживает его пресытившееся весельем общество.

Подают послеобеденный чай. Ситуация сглаживается, и только Шмидт сам не свой, глядит по сторонам, будто бы никого не узнавая. Когда откланиваюсь, Шмидтов немигающий взор припаян к тому месту, где я только что находился; в этот момент он выглядит квинтэссенцией глупости.

Давным-давно ясно – пальто он не носит, предпочитая пончо, тунику, камзол или же просто-напросто выдубленные звериные шкуры. Либо же, если и носит, то из-за своей немецкой скарденности, ставшей притчей во языцех, просто не выручит им, удавится, но не выручит. И несказанно жаль, между прочим: некоторые надежды определённо были связаны с ним – всё-таки мы одного сложения...

Но приходит пора собирать камни – она всегда приходит, рано или поздно!

В комнату тащусь по стене, а вползаю на четвереньках...

Но приюта – не сыскать; ограниченное пространство залито светом, ярким, помноженным стократ, упругим и плотным – в кричащей пустоте комнаты солнечные лучи – нечто материальное. То, от чего бежал, настигает в этой берлоге, ведь на окнах нет гардин – их сняли по указанию доктора для предупреждения суицида. Доктор страшится такого исхода, его сон вряд ли дышал спокойствием, пока гардины висели здесь; лишь теперь он спокоен, ценой покоя моего...

Дурно, скверно – от этого воспалённый мозг отчаянно размышляет!

Кровать... Забиваюсь под кровать, но и там нет спасения.

Шкаф! Скорее к платянному шкафу, моему замечательному шкафу, вмещающему помимо одежды, также и одиночество! Отпираю – теперь моли придётся потесниться. Внутри – умиротворяющий наркотик сумрака, врачующий душу, утоляющий боль; несмотря на поднявшуюся пыль и спёртый тяжкий воздух, мне чуть легче. Гардины... мне нужны гардины, обязательно нужны! Пусть даже ценой некоторых стратегических уступок доктору, – к примеру, в виде клятвенных заверений в отсутствии суицидальных мотивов, – я должен вновь их получить.

Немец удручён теперь, возможно, ему хуже, чем мне, возможно, он пылает лютой ненавистью. Ну, и пускай: с радостью дарую ему возможность дышать гневом, которым и сам дышу – гляди ж как это сладостно, черпай полными пригоршнями, насыщайся! Я хотел этого, я питаю горячую надежду на то, что нынче ночью прокрадётся он ко мне и вонзит нож мне прямо в сердце, в отмщение за то, что сегодня он стал посмешищем. Явись же и убей меня, Шмидт – что тебе стоит! – оборви бесприютную, бессмысленную жизнь, сплошное мучение!

Желаю быть ненавидимым любой ценой, и буду им, иначе остаток жизни – совсем ни к чёрту, благодарение питающим ненависть ко мне! Пою Осанну доктору и тебе, дорогой друг Шмидт, за тот воспалённый полубезумный взгляд; благодарю Фриду за терпеливое молчание, и смуглую незнакомку, сиделку старухи Фальк, бежавшую от меня без оглядки; благодарю весь божий мир, где уже потерял место.

Я видел её, я был потрясён! Она случилась у меня недавней ночью, она – больше некому! – вблизи почувствовал я её жар. Она похожа на Ольгу, это верно: пристальный взгляд и чувственный рот, такого не сыскать больше в целом свете. О, понимаю, отчего так томились по тебе многие, и уже в нежном своём возрасте цвела ромашкой ты среди сорняков. Как хорошо помню тёмные глаза – их невозможно забыть! Самыми жгучими были они при свете дня, когда солнце играло в них, как в брызгах водопада. Я не любил тёмные глаза и смуглую кожу, это далеко от моего идеала, но страсть возжигалась не оттого – я не мог повелевать страстью! – страсть была тайной души и, слава Богу, осталась таковой.

Мои брызги водопада, с тёмными водами и священного...

Наша последняя встреча... Весна 18-го, Москва, вокзал.

В кармане – плацкарты до Петербурга, обозванного теперь, точно собачьей кличкой, Петроградом, и далее, по разорённой, погребённой под остатками собственного величия стране, до Гельсингфорса, вложенные в недавно полученный шведский паспорт, в Выборге под дипломатической защитой ждёт Алекс с дочерью, над землёю весна и запах сирени, а мне тоскливо.

Теряюсь с дрожью в лабиринтах глаз, барахтаюсь, сердце щемит в груди, и дыхание безнадежно сбито – бегун оказался неопытным. Паровоз кряхтит, кругом разноголосье, свистопляска, шум толпы, прощальных окриков и слов, кругом изобилие звуков, и только мы глотаем, как слёзы, безмолвие. Маленькая ручка – в моей широкой лопате, и точно тонет там. Я – высокий, как дерево, а она – крохотная, и смотрит на меня откуда-то с земли, то и дело задирая голову; ей неудобно, но она не признается.

– Тебе пора, – доносится до меня голос.

Да, мне пора, Ольга! Ты понимала, что мы никогда не увидимся больше?!

Она кивает, возможно, этому, возможно – нет, один раз, озирается, потом кивает ещё. Сияющая жемчужина слезы скользит по смуглой щеке, там, где, если б дожила до старости она, верно, была бы борозда...

Благодарный её в истоме, измученный ревностью, сидит где-то в этой нелепой своей огромностью Москве, пьёт горькую, и ждёт назад своего «черноглазого ангела». Меня ждёт супруга, но она ещё дальше Ольгиного мужа, она пишет мне письма и умоляет приехать как можно скорее, потому что на границе неспокойно. Иногда я думаю послать всё к чёрту, всё, без какого бы то ни было исключения, и тогда, знаю, жизнь моя, человека гонимого, и так не стоящая теперь и ломаного гроша, вряд ли продлится больше недели, но что это будет за неделя! Но нужно ли жертвовать всем ради одной недели, даже одного дня, одной крохотной минутки?

Когда паровоз крякает последним свистком, я делаю шаг...

И взяла тоска себе имя её, и обратилась всем для меня – тоской ругался я, тоску забивал в мундштук, с тоской же и пилился в тусклое, посечённое косыми дождинками, стекло салон-вагона. Ловил блуждающий рассеянный взгляд, не отрываясь от всё ещё детской фигурки в длинном чёрном платье и кокетливом берете, но затем белый дым паровоза окутал её, скрыл от меня навсегда, и так кончилось всё даже и не начавшись. Потом... только бесконечные поля и леса моей несчастной истекающей кровью Родины мелькали предо мной, погружённым в скорбь, как в океан, терзающимся о своём.

Что за скверная вещь эта жизнь, и каков же мерзавец придумавший всё это колыхание и дребезжание, с которым колёса повозки твоей жизни катятся по неровностям бесконечно извилистой дороги?! Почему тебе так часто даётся то, что ты не в состоянии взять, маячит перед глазами заманчиво, но протянешь руку, как этого уж и след простыл? Зачем нужно всё так усложнять? И нельзя ли просто родиться с осознанием того, что рассчитывать на многое тебе не след? В этом хотя бы был смысл, а так... Так – сплошное издевательство, насмешка...

Да, моя жизнь – предмет трагикомедии и оптимистического фарса, как жизнь любого из миллиардов глядящихся в это глубокое зеркало. Кто-то просто смеётся над ней, думая так скрасить томление собственного бытия, кто-то плачет и переживает, отчего случилось так, а не иначе. Если принимать всё данностью, возникают вопросы, отвечая на которые смертный может забраться так высоко, что сравнится с Господом Богом; а когда он заберётся туда, то может увидеть, что никакого Бога там и нет. Тогда сведущие скажут – ты забрался не туда, Бог гораздо выше, чем может объять твоя жалкая мысль. И ты полезешь всё выше и выше, и будешь лезть всю жизнь, лезть по головам своих собратий, переступая через себя самого, пока кто-нибудь не прервёт твои мытарства, послав тебе смерть как избавление, единственным ответом на все вопросы. Тогда ты поймёшь, что всё было напрасно. Просто-напросто напрасно! И ни в чём не было смысла – ни в жизни, ни в борьбе, ни в любви – смысл был лишь в крайней бессмысленности.

Да, Ольга, мне пора. Когда напольные ходики в кают-компании яростным щелчком констатируют гибель старого и рождение нового дней, я вновь надеюсь оставить этот мир, а вместе с ним и кровоточащую память, в том числе и о тебе. Впрочем, надеюсь каждый божий день, и каждую божью ночь пытаюсь уснуть я в обнимку с этой надеждой, и иногда даже, случается, засыпаю.

Но... Близится вечер, солнце ушло, мне лучше.

Выбираюсь из шкафа, сажусь к столу писать письмо Хлое. Скоро явится ненаглядная Фрида – желательно успеть до её прихода.

IV

Конец ноября. Утро.

Хлоя прислала пальто, это не заняло много времени, – она знает мой номер, моё сложение, и одежда пришлась впору, – доброе пальто цвета воронова крыла с обшлагами и хлястиком, тёплое до одурения. Пришлось подождать, но ожидание увенчалось успехом, и это несомненная радость!

Сама она божится приехать в скором времени, к следующему Родительскому Дню, отговариваясь до поры наличием всяческих хлопот: сопроводительное письмо – образчик напыщенного красноречия. Хочу видеть дочь, без сомнения, и, одновременно, не хочу... Явится, стремительная, деятельностная, будет верховодить здесь – кто знает, чего лишусь я тогда?! Ясно, что гардинами дело не ограничится – она будет подбираться к сигарам, она давно уже к ним подбирается... Передаёт всё меньше и меньше, и я принужден экономить, откладывать окурки, скрывать их в носках и в подполе, и... трястись от каждого шороха – как бы кто не обнаружил припрятанного. «Пришли мне сигар, будь добра!» – «Я купила тебе тёплый свитер, носки и рукавицы...». Носков, рукавиц, свитеров некуда девать, и в скорости, кажется, распахнёт двери Лёккова галантерейная лавчонка, хотя лучше бы ему открыть табачную. Но сигарто... сигар – коробка на целый месяц, извольте... Но, так и то неплохо, как говорится, от щедрот. Скоро, глядишь, пол-коробки на месяц, затем четверть, затем... Так и до одной штучки докатится – брррр, даже мысль такая вызывает оторопь!

Так и слышу её зычный, выпестованный нарочно для многолюдного общества, голос: «Мой отец – ворчун и брюзга, от этого и оторопел!». Конечно, ворчун, но о доброй душистой сигаре – миленькое дело! – не грех и обворчаться. О сигаре, и о...

– Добро пожаловать, Фрида!

...И о Фриде, конечно!

Бах! – отворяется дверь, внезапным порывом едва не снося меня с ног – всплывает молчаливый цеппелин с полустёртой надписью «Frida» на покатам борту, мощная корма выкрашена серым и уж малость пооблезла, флагу на мачте взгрустнулось, и он поник. Пёс с ним, что без приветствия, но... без стука, Фрида! А как же повеление хозяина? Впрочем, стучаться именно в эту дверь – тщетно, известное дело, понимание этого сэкономит время для чего-то большего...

А я исполнен несносной напускной механической радости – напялил новое пальто и кружусь одетым в жарко натопленной комнате, скрипя суставами, будто проржавевшая шестерёнка:

– Фрида, погляди-ка только, что есть теперь у меня! Пальто! Ручаюсь, нет у тебя ничего подобного! Хлоя прислала, любимая дочь, теперь я могу гулять в парке. Что скажешь? Ты будешь гулять со мной?.. – и лезет дурацкая радость эта изо рта, как рвотные массы.

А она и не думает смотреть – есть дело, будто, ей до моего пальто или моей радости? – у неё другая цель, в руках у неё нечто. Прищуриваюсь: это... судно? Сверкающая лакированная посуда. Она деловито осматривает его со всех сторон, ставит на пол, и медленно-медленно, со злобным скрежетом, двигает под кровать, соседом к такому же блестящему щёголю-горшку.

Останавливаюсь, замираю: отрывки, обломки жизни стремительно, огнями проходящего поезда, проносятся перед глазами. «Ну, вот и... конец!?!», – копошится в голове неудобная спонтанная мысль.

Потом смеюсь, всё громче и неистовей, до колик захожусь в хохоте. Фрида оставляет комнату, даже не посмотрев на меня, а я не кидаю никаких проклятий ей в след, я просто смеюсь.

А доктор-то – молодец, нечего сказать! Знатно уязвил я его и полагал, будто преподавал урок, который будет впрок ему, а он... и виду не подав, засылает Фриду с судном. Кажется, недооценка налицо... Очевидно, он являет мне своё «расположение»: «Я не враг вам, Лёкк, и желаю вам добра. Будьте любезны сидеть в оплаченном вами номере и ходить в это судно. Вещь, оторванная от сердца, удобная и красивая, я бы и сам пользовался ею, не сомневаясь, будь на вашем месте».

К чёрту всё это! Гладкое лакированное судно или энциклопедический словарь, небытие или жизнь, погибель или вечные муки – не всё ли одно?

Фрида уходит, поводя крутыми, как Доломитовые Альпы, бёдрами – краешек белого передника за дверью; когда же, наконец, одумываюсь, и хочу кинуть то, что она принесла, ей вслед, жгучая неприязнь к самому себе останавливает руку. Бедняга! Если всё пойдёт так, как теперь, то в скорости судно, безусловно, понадобится...

Я давно не видел Шмидта, немца, с самых тех пор, как он разглагольствовал в обществе о германском созидательном начале, и спросил о нём толстяка Фюлесанга, с которым они здесь теперь соседи и закадычные приятели. Тот уставил на меня свои полные сочувствия свиные глазки и ответил, что Шмидта уж неделю, как нет в живых.

– ...Будто вы не знали!? Шмидт покинул особняк, но так и не вернулся, и никто не знает, куда он подевался. Сиделки шепчутся, он умер; возможно, это так и есть...

Ничего особенного – объясняюсь – я не выходил несколько дней, и не знаю новостей.

– ...Но ведь престранно же, не правда ли, – исполненный напыщенной серьёзности, продолжает Фюлесанг, – совершенно здоровый человек, взял и умер. Вот и мы всем обществом думаем, что он просто потерялся, а говорящие о смерти – лукавят.

Я не думал, что Фюлесангу захочется развивать такой разговор, и был удивлён.

– Сиделкам-то лучше знать... – пространно замечаю.

Фюлесанг смотрит на меня, как на безумца.

– Но доктор-то, доктор – молчок! А кто такие сиделки, как не обслуга – что стоит им выдумать побасенку и самим в неё уверовать?! То-то же... Да и неужто бы нам не сообщили?! Умирает один из нас – отчего? почему? – мы же не можем быть сыты только слухами. А значит – ничего необратимого, это точно. Да мы и не верим, – он хватается меня за рукав и убедительно смотрит в глаза, – не верим, вот ни капельки! Разве что...

Ах, это странное «разве что»! Туманное, призрачное, едва различимое, голос души... Отчего бы не ухватиться за него:

– Разве что?...

– Что?

– Вы сказали «разве что...».

– В самом деле?

– Именно! Что это, как не начало новой фразы?

Мнётся.

– Да, пожалуй... Даже и не знаю... Поистине, нелепо и говорить всерьёз!

– Всё-таки расскажите.

– Наверное, не стоит...

– Ну, же... Я весь во внимании!

– Ну, хорошо: госпожа Розенкранц видела гроб...

Пауза. Фюлесанг странно улыбается, будто наверняка знает, что было в этом гробу...

– Госпожа Розенкранц видела гроб?.. – брови на моём лбу медленно ползут вверх.

Видимо, Фюлесангу кажется, что меня немедленно нужно успокаивать, и поэтому тут же, охнув, поправляется:

– Вернее, книжную полку...

– Полагаете, гроб похож на книжную полку?

– Ах, я не знаю! Возможно, издали... Работники грузили нечто продолговатое как-то рано утром на телегу, что-то вроде ящика или футляра – госпоже Розенкранц это привиделось гробом, но затем она поняла, что это непременно книжная полка. Госпожа Розенкранц – натура впечатлительная, она и сама не понимает, как могла так ошибиться!

– Впрямь она ошиблась? – осторожно спрашиваю.

Ещё один пронизанный непримиримостью взгляд.

– Но... господин Лёкк, сами подумайте, может, разве, быть это что-то иное, кроме книжной полки?!

Задумываюсь, чешу затылок: и верно ведь, какой такой ящик можно выносить с первыми петухами, кроме книжной полки, именно книжной полки... Бритва Оккама! – я даже смеюсь столь напрашивающемуся решению трудной задачи!

– ...Словом, Шмидт пропал – ясное дело! – проводит жирную, как он сам, черту, лёгкий на расправу Фюлесанг.

– А вы сидите сложа руки... – подначиваю.

– То-то и оно, господин Лёкк, что не сидим. Но что мы можем сделать?! Устроили переполох, обыскали парк, заглянули во все щели и углы, а толку...

– А что ж Стиг?

– Я взял на себя труд говорить с доктором – он проявил участие, и обещал послать людей отыскать Шмидта.

Совершенно здоровый?.. Взял и умер?.. Невообразимо! Точно пропал, пропал ей-богу!

– И что же, послал? – интересуюсь участливо.

– А то как же! – заявляет Фюлесанг со всей ответственностью. – Всё ж таки живой человек...

– Что ж, кто-нибудь видел этих людей, есть ли они в природе?

– Никто не видел, по правде говоря, – говорит Фюлесанг и тут же обиженно, поджав мясистые губы: – Вот ещё один неверующий Фома... Послал, не сомневайтесь! С чего быть доктору Стигу столь жестокосердным, чтобы бросить человеческое существо на произвол судьбы?!

«Кто же первый, тот, другой неверующий? – думаю я, и насилию сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. – Впрочем, нетрудно будет распознать: задумчивый, сомневающийся, небритый, без гардин... В общем, похожий где-то на меня».

– И каковы ж результаты поисков? – спрашиваю.

– Не знаю, увы. Я Шмидта более не наблюдал, ни за обедом, ни в парке, ни вообще где-либо в особняке – комната его так и пустует – но вот госпожа Визиготт утверждает, будто он прогуливался под её окном, и даже помахал ей рукой, когда она окликнула его.

– После пропажи? Как же это так?

– Большой вопрос! Что тут можно подумать?! Ясно, что Шмидт-то жив-живёхонек, но вот возвращаться в общество отчего-то не спешит и, кажется, показался госпоже Визиготт лишь в подтверждение – жив, дескать...

– Странное дело!

История с прогуливающимся под окнами госпожи Визиготт Шмидтом ложится на душу слаще гроба госпожи Розенкранц, я даже вполне готов уверовать, что слабые от возраста глаза не сыграли с госпожой Визиготт какой-нибудь шутки, особенно после её рассказней про однажды высадившегося к ней из светящегося облака с благой вестью Архангела Михаила. Даже так: хочу верить в это – вот в чём дело! – желание нелегко убить. Но убеждать себя, когда очевидно обратное...

Тучный, протяжный исподлбья, взгляд Фюлесанга, между тем, совсем теряет стройность и осмысленность, глаза начинают бегать, и я, исключительно для хорошего завершения беседы, высказываю вслух наболевшую мысль:

– А может Шмидт и впрямь умер, хоть бы и совершенно здоров, нет?

Фюлесанг болезненно озирается, нетерпеливо подёргивает плечами: вопрос без ответа.

Но мне-то в ответе нет нужды: знаю наверняка, Шмидт отошёл в мир иной, иного и быть не может! А почему ему, собственно говоря, не умереть? Оттого, что он – «совершенно здоров»? Умирают и здоровые – скоропостижно, случайно – обычное дело! Если б Шмидт только был здоров – куда там! Неточные вопросы, скользкие – вернее было бы спросить, от чего насквозь прогнивший, отживший, износившийся, как старые брюки, немец Шмидт не мог бы умереть – если иметь доступ к докторскому архиву, то вариантов нашлось бы куда меньше.

А от чего не может умереть любой из пребывающих здесь?!

Одного взгляда на самого Фюлесанга хватит, чтобы гипотетически предположить причину грядущей его смерти, хотя для многих его бед и полубед развивающейся семимильными шагами медициной не выдумано и названий. А пока доктор Стиг, молодой учёный, плоть от плоти медик, будет мучительно корпеть над причиной, карточку Фюлесанга до лучших времён сдадут в архив, закрыв словами: «Умер от неудовлетворённых амбиций, усложнённых отчаянным тщеславием», хотя на деле первым в истории он скончается от сложной формы плоскостопия.

Шмидт исчез... Нет, испустил дух, что тут греха таить, вот так дело!

А ведь мы расстались неприятно, если не врагами, то настороженно, недружественно, и, конечно, он затаил обиду. Знаю, бывали нередкими с ним провалы в памяти и приступы немотивированной агрессии, так что, вероятно, он мог и подзабыть наше с ним недопонимание, сорвав зло на ком-нибудь из персонала, но от неприятного осадка это не избавляет. Что нам-то с ним делить, за что друг друга ненавидеть? Думаю, если б представилась возможность выправить положение, я бы что-то сделал для этого, пусть бы и в ущерб себе, пусть даже и назвав Гитлера грандиознейшей фигурой со времён Фридриха Великого. Мне нетрудно, и, кроме того, это ведь вполне может быть, и в этом я бы не погрешил против истины. Правда, нет никакой гарантии, что бедняга Шмидт не скис бы в совершенную простоквашу вследствие чего-то иного, хоть бы от восторга осознания того, что Лёкк восхитился Гитлером.

В раздумьях едва замечаю ежеутренне ожидаемое явление – старуху Фальк на прогулке. И всё та же незнакомка с ней; всё время только издали в окно вижу её, и никак не могу разыскать в особняке без лишнего внимания. Да, занимательно, всё же мне думается порой, что её, моей незнакомки, на самом деле не существует на земле – её нет ни днём, ни вечером, – да и утром она спускается к нам с небес, – всё же мне хотелось бы думать, что прибежище её небеса, а не ад, – для того лишь, чтобы вывезти старуху в парк, словно бы никто не справится с этим делом лучше её. Затем растворяется она в затхлом воздухе «Вечной ночи», серым туманом возносится в свои высокие чертоги, оставив по себе лишь воспоминание в воспалённой фантазии некоего писателя, вмещающем и так столь многое и удивительное.

Впрочем, в шкафу – долгожданное намоленное пальто, и я ещё помню, как и куда нужно вставлять руки. Пожалуй, такую возможность узнать, реальна ночная гостья либо нет, преступлением будет упустить.

В парадной нос к носу сталкиваюсь с доктором Стигом или же с его мраморным бюстом – трудно понять.

Он подготовился к возможной встрече, изрядно попотев над словарём, и выписал пару любезностей на русском языке, которые теперь, высокопарно выводя слоги, и изрекает. Всё это не к добру – он серьёзно решил взяться за меня – одними разговорами и судом я, вероятно, не отделаюсь. Впрочем, в голове уже созрело новое письмо Хлое, которое, если всё верно сделать, позволит мне быть в покое: ради бога, не нужно мне ни носок, ни шарфов, ничего подобного, а лишь только коробка сигар, да, передай мне завёрнутую в обложку от абрикосовой пастилы сигарную коробку, и круглую сумму наличных денег для уважаемого доктора Стига впридачу в качестве платы за спокойствие последних месяцев жизни отца. Чёрт с ним, уж и Фриду вынесу я, мне не встанет это в труд, тем более что я уж с ней попритёрся, но вот

разговоры по душам с доктором навевают странные настроения, от которых, смилившийся и где-то даже приветствующий свою грядущую участь, человек, вполне может тронуться рас-судком загодя.

На приветствие доктора отвечаю по-фински – на этом наш краткий филологический поединок завершается, а завершается он позорным бегством доктора в свой кабинет.

Ликуя, провожаю его глазами – напрасно, видимо.

Не отдалившись и трёх шагов, он поворачивается, и стремительной, но странно-тяжёлой, чугуновой поступью идёт обратно.

– Пораздумали вы над тем, о чём имели честь мы толковать?

– А мы разговаривали? – рисую милую улыбочку. – Когда же?

Ни один мускул не искажает сокращением его гладкого лица.

– Неделю назад тому, после Родительского...

– В самом деле?! Ах, да, что-то припоминаю – в кают-компании, за вечерним чаем... Да, да!

Доктор хмыкает.

– Ну, пусть так, пусть за вечерним чаем... Вообще забывчивость ваша странна – всё же мы нечасто видимся, вернее, не так часто, как следовало б и мне бы хотелось! Ну, да ладно – не суть. Я говорил с вами добром, любезно, по возможности, и, кажется, был прекрасно понят, я, по крайней мере, уверен в этом. Так всё же очень хочется услышать ответ.

– Ответ о чём? – интересуюсь. – О том ли, чтобы перенести кладбище из прибрежного городка к нам в парк, открыть филиал, так сказать? Разумеется, я согласен – вот вам ответ! Да и нелегко не согласиться с неизбежностью...

– О том, чтобы проявить мудрость, обычно присущую людям вашего возраста и опыта, и быть чуть более покладистым. Вопрос не праздный, я хлопочу об этом не из особой любви к вам – это необходимо вам самому. Я долго думал: характер... нрав... вот загвоздка, вот что вас разрушает! Это разрушило прежнюю вашу жизнь; и нынешняя, полюбуйте – уже изошла трещинами – не оттого ли?

Нынешняя... прежняя... Положим, о нынешней возможно что-то сказать, если вообще называть это жизнью, но что ему с прежней?! Вообще мрак...

– Вы напрасно вернулись, доктор Стиг, – отвечаю. – Время не терпит. Бедная Фрида уж утомилась ждать вас с отчётом о злодеяниях, совершённых Лёкком вчера. Мыслимое ли дело оскорблять даму ожиданием?!

Доктор – нужно отдать должное – ангельски (либо дьявольски?) терпелив – и бровью не повёл оттого, что я назвал нашу Фриду дамой, хотя в Мулен Руж публика, забыв о том, что она почтеннейшая, непременно каталась бы по полу. Беда, только, что... слов-то явно недостаточно, чтобы Лёкк хоть частично проникся его искренностью, и все эти благонравные жесты, и все эти медовые слова – не впрок, даже не в насмешку. Кто бы посоветовал ему перелистать лишний раз Священное Писание, где Сын Божий свершает различные чудеса – умножает хлеба, вино и рыб, исцеляет увечных, изгоняет бесов, воскрешает мертвых... – и тем самым исподволь подтверждает силу Отца. Быть может, доктор умеет делать то же самое, – в это вполне можно поверить, – но творит эти дела он инкогнито, и ни в «Афтенпостен», ни в «Верденс Ганг» нигде об этом не упомянуто.

– Да поймите ж вы, упрямец, – говорит он далее, – я вовсе не враг вам, что бы вы там себе не возомнили, а уж о вашей дочери, госпоже Хлое, и думать так, ей-богу, грешно!

Хлоя?! Имя громом гремит в голове и понуждает задуматься, растеряться – не сразу оправляюсь от удара. Случайно ли это либо же нарочный ход? С чего это он вдруг поминает Хлою, и отчего по имени, легко, просто так, панибратски, хотя она вроде как не молодая девчонка, а дама с репутацией, побывавшая уж замужем? Неужто, что-то упустил я, и они в союзе?! Нет, быть такого не может! Суждения её были, как всегда, однозначно резки –

«пустой щёголь», «фанфарон», «несносный тип», «мороз по коже от него», и тому подобное – тот ею также не восторгался... Бред, наваждение, не более. Но, может статься, потом, как-нибудь и где-нибудь – дело молодое?... Гм, но зачем ей тогда передавать мне сигары тайком от доктора и его многочисленных шпионов, то есть потворствовать нарушениям докторских правил и установок? Или всё же...

Море вопросов – барахтаюсь, хлебаю жгучую соль, едва не иду ко дну. И всё-таки...

Нет, теряюсь, поскользнулся на льду, вот-вот упаду: давно уже сочинённое в уме письмо дочери, вдруг распыляется, на глазах теряет какой бы то ни было смысл. Что же делать?

– Само собой, не враг, – говорю тогда, – исследователь, психоаналитик, последователь Фрейда и Юнга... Что вас интересует больше? Откройтесь же: *tanatos*? *mortido*? Ведь об этом мы толковали, верно? О Хёсте, о госпоже Фальк, их чаяниях, их надеждах... о сущности их – вроде и здесь ещё, а вроде... и нет. За чашкой чаю-то об этом только и болтается, не правда ли?

Он пристально смотрит мне в лицо и даже как-то увеличивается в размерах, хладнокровно наплывает на меня мглисто-серым голубоглазым облаком.

– Я понял – всё ж таки вы просты, как двухкрановая монета – это обычная антипатия! Вы питаете неприязнь ко мне, верно?

– Нет, ну что вы, как я могу!

– Да, так и есть – ничему не переубедить меня! Я лучше думал о вас, а вы... прямолинейны, как... как...

Пока он думает, насколько я прямолинеен, отвечаю ему вовсе не прямолинейно:

– И всё же – нет, это не вопрос симпатии-антипатии, нечто иное, быть может, столь же безыскусное, но... Я не доверяю вам, доктор! Недоверие отличается от неприязни, ненависти, и притом значительно, не находите? Я уважаю вас, но не доверяю! Но и это полбеда...

– Что же ещё?

– Вы не сможете ничего сделать, чтобы я вам доверял.

– Вот как! Для других смог, может, и для вас что-нибудь смогу? Вы упомянули уважение – оно взаимно; отчего бы не считать это точкой отсчёта? Затем же поговорить откровенно...

– Впрочем, я неправ, можете, пожалуй, и вы что-то сделать...

– Говорите же, я слушаю.

– Попробуйте совершить что-нибудь... гм... эдакое, из ряда вон...

– А конкретно? – демонстративно извлекает чёрный блокнотик и изрядно источенный карандаш. – Я даже запишу...

И будто бы впрямь намеревается записывать – шуршит листками, слюнявит карандаш...

– Пожалуйста! – говорю. – Воскресите Шмидта, или самого Карла Маркса, поднимите на ноги вдову Фальк или беднягу Хёста, дайте язык нашей любимой Фриде, накормите чёрствой буханкой пять тысяч человек... Совершите чудо, доктор, наконец! Чтобы об этом трубили в газетах, чтобы весь мир говорил об этом, а не только вы солировали, и не только Хлоя, там, на заднем плане, аккомпанировала бы вам...

– Ваша дочь упоминала обо мне? – гладкое лицо доктора вдруг покрывается испариной откровенного интереса, где-то на бледных губах мерцает подобие самодовольной улыбки. – И как часто?

И вот опять: дурное предвестие – так, кажется, это называется... Он не возмущается моим грехопадением, не обличает богохульства и ненависти к идеям социализма, не бросается очертя голову доказывать, что Шмидт, видите ли, вовсе и не мёртв – «как только язык повернулся у вас сказать такое!» – он выделяет красной строкой имя моей дочери!

– О вас лично, поверьте, Хлоя не обмолвилась ни пол-словом, – отвечаю, совладав с бурной рекой мыслей, – она сказала лишь то, что ни в коем случае не положит мои кости здесь, в парке, и не сделает из меня чучела для вашей коллекции, как, быть может, вы бы хотели.

– Ну, что за бессмыслица! – укоризненно и бесстрастно, будто самому себе, говорит он. – Какое ещё чучело! Какая ещё коллекция!

– Обычная коллекция! Всем известно... как собирают редких бабочек – ловят сачком и прокалывают тело иголкой, хрупкое крохотное тельце, затем – под стекло, пинцетом осторожно расправив крылышки. А ваша коллекция... вроде как в оранжерее или в ботаническом саду – редкие растения и овощи.

Карандаш с блокнотиком неиспользованными возвращаются в карман.

– Хорошо, эту выдумку я оценил. А что делать вашим костям в парке?

– Там будет погост, я же сказал.

– С чего вдруг?

– Ну, как же, доктор: количество смертей у нас будет постоянным – по одной-две в месяц, это неизбежно, а в город возить покойников хлопот не оберёшься, да и муторно. А здесь, у нас в парке, чем не кладбище – ведь здесь был склеп! А эти умершие гнилые стволы, трухлявые пни – чем не надгробия?... Вы слышали? – перехожу на таинственный шепот, приложив ладонь ко рту. – Что за толки ходят о Шмидте, его исчезновении? Будто он ушёл погулять в парк и не вернулся...

Лицо доктора непроницаемо.

– Тсс, ходит ещё и иное, – озираюсь по сторонам, и далее устремляю взор к высокому потолку, – будто Шмидт...

– Нелепица, вздор... – отрезает он, впрочем, бездушно, не злясь, не сверкая глазами, не меч молний.

– Да, толки толками, но человека-то и след простыл! Был, и нет. Что вы скажете на это?

– Я ничего не должен говорить, но... тем не менее, только для вас лично: господин Шмидт никуда не исчезал...

– Как это понимать? Он жив? Просто уехал, улетел, растворился в воздухе и материализовался где-нибудь в Монте-Карло?

– Понимайте, как хотите!

– Вот как! Вы молчите, вот и понимает общество так, что герр Шмидт... кхм...

Доктор с величавой вежливостью качает головой.

– Но где же он? – спрашиваю. – Укажите хоть приблизительную локацию – Норвегия, Германия, небеса, Преисподняя – не ровен час, постояльцы взбунтуются...

– Ну, бунтует здесь лишь один... – доктор равнодушно закладывает руки за спину, будто собираясь уходить.

– Скажите же, ради любительства... – продолжаю, и это явно не походит на просьбу. – Хотя... можете не говорить... Это, конечно, относится к вещам метафизическим, вне постижения, вне понимания!

– Нет, – говорит он преспокойно, – это относится к вещам скользким, неопределённым, событиям и новостям, которые лишь предстоит узнать, образам грядущего...

Смотрю на эту блестящую шароподобную голову и восхищаюсь, искренне, подобострастно, где-то – даже на мгновение позабыл об Ольге и вдове – как можно оставаться невозмутимым там, где и философ-стоик наложил бы на себя руки?! Это немного смущает, впрочем, не сбивая с толку; возможно, я бы и воспользовался случаем, если б не спешка...

– Хотите сказать, впоследствии всё откроется, и положит конец молве? – в голосе у меня появляется суетливая неуверенность.

Он отгибает краешек рта, так что видны великолепные и неестественно белоснежные зубы, и будто бы процеживает сквозь них слова:

– Именно, друг мой! Разумеется, я осведомлён лучше вашего, но... не всегда знание бывает к пользе – кажется, мы говорили с вами об этом, нет? И вот что добавлю: я готовлюсь к сюрпризу, и надеюсь обрадовать моих постояльцев хорошими новостями в дальнейшем...

Вздрагиваю – ещё не на улице, а уж подмёрз...
Но Лёкка не запутать, чёрта с два!
– Что это у вас во рту, доктор? – спрашиваю.
Настораживается.
– Язык, что же ещё!
– Да, но какой! Гляньтесь-ка в трюмо: не раздвоился ли?..

Вырываюсь наружу, будто бросаюсь в пропасть.
...И мигом плотная стена влажного холодного воздуха подхватывает, обступает – поди ж ты, узник, не слишком ли засиделся ты в своём каземате!? Дышу, дышу, а продыху – нет!

Тумана не предвидится, вместо того воздух снизу и на уровне глаз пронизан странной дымкой, пахнувшей, очевидно, чадом – жгут листья! – и небо по-старушечьи плотно закуталось безнадежно серой мохнатой шалью облачности. Снега ещё не было, и все в ожидании! Все... Люди, дорожки, грязно-жёлтые, увитые плющом стены, вековые деревья, и сама Вечная Земля – время сна пришло, хочется покоя... И перина... перина сбита, одеяла – недостает. Остаётся лишь дожждаться, напиться терпения и дожждаться; за ожидание, как всегда, воздастся сторицей.

Большой старинный парк, мало ухоженный (и чем только занимается садовник?!), заваленный павшей листвой, с убогими щербатыми дорожками – разве что главная аллея сморщится – да давно заросшим прудом с насыпным островком и беседкой посреди него, куда сходятся все тропки с разных концов, будто в Рим, центр мира. Из деревьев в парке большей частью дубы и буки, а чугунная ограда, летом утопающая в вереске, перевязана извилистыми канатами дикого винограда. Прежде, в течение долгого времени, эти земли явно использовались под поместье, а трёхэтажный особняк с высоким крыльцом и прилепившимся сбоку флигельком в стиле позднего классицизма принадлежит к самому началу девятнадцатого века и построен при Карле Юхане...

Чёрт побери, обитаю здесь несколько месяцев, а вынужден додумывать историю этих камней и этих деревьев вроде как бы на заказ, на потеху публике, совсем как один всем известный сказочник, потому что не знаю истинной их истории! Конечно, для моей фантазии это не представляет особого затруднения, но всё же хочется и известной толики истины.

На самом ли деле всё было так, как я думал?

Сверху на фасаде, под самой крышей, дата – 1818 и герб поверх неё, рассмотреть который теперь не представляется возможным, само здание дышит вековой печалью и некогда вполне осуществимыми надеждами. Внутри не всё так радужно, как снаружи, внутри нет ощущения величия и старины, скрипучие полы сожрали паркет, а стены везде в салатовой грязи, хотя прежде, верно, пестрели зеркалами, гобеленами и семейными портретами. Внутри, вместо портретов и серебряных канделябр – полотна Мунка и пансионат для балансирующих на грани жизни умалишённых, снаружи – парк и старинное поместье, литая ограда, львы со щитами, фонтан с Самсоном. Какой контраст!

А с людьми, обитающими здесь, не то же ли самое?

Больной душевно и физически выглядит куда как лучше здорового, он подтянут и крепок духом, точно сталь закалён он в борьбе, а его планам мог бы позавидовать и сам размышлявший о мировом господстве Бонапарт. Планы и мечты, чёрт бы их побрал, всегда лезут, когда почти что мёртв, и от них нет спасу: это похоже на какую-то насмешку, особенно если ты не пребываешь в счастливом неведении насчёт дальнейших своих перспектив, а всё замечательно осознаёшь. Да, кто-то сверху, Создатель, Великий Игрок, азартный до безобразия, двигает нами, как фигурами и ставит нас в ещё более невыгодное положение, чем уже есть; Игрок

спускает нам всё новые мечты, огромные хрустальные замки, радует нас, заставляя забыться в этой радости. И вот, с душами, полными этого неизбежного счастья, мы летим в пропасть, до конца, до самой могильной плиты не веря, что это конец, что это всё, чем мы могли ответить миру.

Вот, какой-нибудь давно протухший Фюлесанг, смотрясь в зеркало по утрам, выскоблив до красноты затупившимся лезвием подбородок и приладив жиденькие волосёнки друг к дружке в более-менее сносную причёску, находит себя в несомненно более выгодном свете, нежели доктора Стига, вечно метущегося, мрачно-задумчивого, обременённого проблемами вовсе не глобального характера. Работники доложили, в подвале опять озоруют грызуны – мешки с пшеном безнадежно попорчены. «О, Господи, и за что мне это!?!», – восклицает доктор Стиг. Вместо своих прямых обязанностей по подобающему сопровождению живых трупов в иной мир, он вынужден воевать с какими-то мышами; это не уменьшает отёков под глазами, и никак не способствует собственному спокойствию и благополучию. И так выходит, что он медленно, сам по себе, шаг за шагом приходит в упадок, разрушается... А что ж Фюлесанг? Ему вовсе не так уж худо, как можно было бы подумать. Зеркало не лжёт, оно способно к этому, в отличие от людей. Глядеться на себя – ежеутренний ритуал, заменивший собой молитву; он глядится, так и сяк, и отмечает с удовольствием, что уж на его-то румянном блинообразном челе, в отличие от хмурого докторского, морщин явно поубавилось, а волос на макушке, несомненно, ударился в рост. Нет, конечно, он не Дориан Грей, но всё же положение явно стремится к лучшему, и нынче он – мужчина хоть куда, и отчего бы, в таком случае, скажите на милость, не приударить за какой-нибудь из сиделок. Вот хотя бы за фрёкен Джулией, сиделкой загостившегося на этом свете Хёста! Чем не пассия? И чёрт бы побрал меня, если я не видел-таки бочкообразного, пышущего здоровьем (а скорее, его подобием) и румяного Фюлесанга любезничающим с фрёкен Джулией, полногрудой незамужней особой приятной наружности. А та краснела и заикалась от неожиданности напора его и едва ли не юношеской горячности.

Тогда я вновь задумался о странностях человеческой природы. Это был хороший повод, чтобы записать парочку пришедших мне на ум мыслей.

Румянец Фюлесанга, буйным цветом взрывающий обвисшие, как размокшие тряпки, щёки – проделки сахара в крови, ясное дело; волосы на черепе – всего лишь то, что ещё не облетело, а вовсе не то, что выросло заново; блеск в заплавленных глазах – следствие наполненности желудка, сытости, не голода, присущего юношеству. Так что с того? Помеха ли это ему? Быть может, нездоровому человеку лучше всего внушить себе толику здоровья, не принимать всё данностью, а решить себе: здоров, и точка! Отчего нет? Не уверяется ли глупец каждодневно в мудрости своей, ведь никто кругом его не понимает? Не уверяется ли и лжец в том, что ложь его во благо? Уверенность в правоте – вот главное! Это мгновенно убивает всякую тягость от скорой неизбежности, особенно у того, кто так страшится, что и слова не вымолвит. Уверенность; и доктор в этом случае – проводник, слепой Харон, всего лишь! И выходит, он прав, и вовсе здесь не затхлый склеп, и вовсе не «Вечная Ночь», а пансионат «Вечная Радость», обитель полных счастья, которые так счастливы, что даже не курят, людей... Прав! С чего я тогда так невзлюбил его?

Боль, неискренность, злость?... Бог его знает!

Вот вдовица Фальк, добрая моя знакомая, столь часто донимавшая меня прежде, теперь – совершеннейшее растение, я редко вижу её, разве только исподволь через окошко по утрам, и вовсе не слышу её голоса. Она возносит руку, заметив знакомое лицо и, необходимо признать, зрение у неё острое, как никогда – меня она хорошо различает издали в окне. Наверное, если б могла, она вполне бы похвасталась своими улучшениями – о, да, именно улучшениями! – пусть почти недвижима, но прибыло в ином месте, там, откуда и не ждали: Господь

Бог одарил милостью видеть на расстоянии без очков и монокля. Отчего бы не подумать, как в скорости изменится ещё что-либо?

– Доброго времени суток, дорогая госпожа Фальк, как сказали бы у меня на Родине!

Старуха блаженно бессловесна – грезит, как младенец, и посапывает в дреме из-под груды одеял: утро для неё пока не началось, а может быть, ещё и не заканчивался вечер. А вот застигнутая врасплох незнакомка отскакивает от её кресла метра на три в сторону, едва не соскальзывая в пруд при этом. Ну, уж о её-то здравии волен справиться я без подозрений в дурном обхождении...

– Доброго дня и вам, фрёкен! – улыбаюсь, приподнимаю шляпу. – Как ваше здоровье? Прекрасное утро, не правда ли?

...Волен и улыбнуться пошире – вероятно, часть бывшего моего «великолепия» с тем вернётся ко мне, если не буду в край смешон.

Фрёкен молчит, и – хлоп, хлоп! – ошалевшими ресницами... Росточку-то невеликого, и вся какая-то нескладно-хлипкая, невесомая, совсем девчонка, в тёмно-синем пальто с меховой оторочкой и обшлагами, с лохматой, старомодной, чуть свалявшейся муфтой на одной руке, и на голове – никаких тебе шляп с перьями или вуалью! – чёрный бархатный берет. И волосы... волосы под беретом, чёрные, как смоль, туго скручены широкой косой совсем на тот русский манер, старинный русский манер. О, какая ж ты... Могла разве быть ты ночным моим татем, коварным и безжалостным, могла разве вдохнуть жизнь в давно мёртвое тело?! Ты, крошечная, кажется, бесхребетная – осерчает ветер, да прочь унесёт, как листок – в которой и самой-то, кажется, недостаток жизни и чувства... Ты ночью ворошила мои записи?! Но это же ты, ты, чёрт побери! Ольга... Растерянное лицо и впрямь будто её, Ольгино, немного, правда, строже и мрачнее, с некоторой резкостью в чертах, но глаза... те же самые, где, словно сияющие слезинки, спрятались тайны. И глаза эти, глаза... так же темны и глубоки, как Ольгины, и губы надменные, но обжигают – знали ли они улыбку и уж тем более прикосновение?

Нечто непонятное возшло, воспоминание укололо в сердце – чувствую резкую боль, затем... мягкая теплота. Ничего, ничего общего с тем, что грызёт и терзает меня, и вовсе не смерть сводница этому.

Стремительным шагом напрямик к ней, приближаюсь, жадно сгребая в охапку ладонь в перчатке, запечатлеваю поверх поцелуй... Ума не приложу, отчего, – порыв, не более! – но губы без труда вспомнили обхождение, пальцы легли на худенькое запястье и, дрожа, сжали его. А кожа её, прежде холодная, полыхнув жаром и под перчаткой, была взаимна, и знакомое раскалённое дыхание – ответом на некоторые вопросы... Да, это была она – вряд ли мне пришло в голову! По иным поводам сходил с ума, забывая, кто таков и где нахожусь, но не по этому!

Приковываю себя к чёрной бездне глаз напротив – Ольга... Ты! Попробуй только сказать иное, ну же, попробуй! Господь не терпит лжи и помечает лгунов особыми знаками – будь уверена, я сумею их разглядеть.

Недоумение снедает страх, густая краска на лице, то ли от смущения, то ли от ярости, а ошалевшие зрачки в поисках истины снуют по сторонам – кто бы лишний не застал.

– Кто вы?... Что себе позволяете?... – голос, непривычно низкий, с хрипотцой, словно простуженный, понятное дело, мигом в дрожь.

Трепещу, признав и его, голос; я отвечаю, вопреки всякому приличию, вопросом на вопрос:

– Ольга, ты обещала прийти ко мне. Почему ты не пришла тогда?

– Господи, что вам от меня нужно? – лепечет, стараясь, во что бы то ни стало, увернуться от моего пронзительного жаркого взгляда. – Я не Ольга! Мы незнакомы, я ничего вам не обещала...

– Обещала! Ноября, семнадцатого дня, я запомнил дату. Мы, полумёртвые, иногда ещё способны соображать, а память, порою, заменяет нам солнце и кислород. Ты явилась ко мне тем

вечером, смотрела мои бумаги, те самые, на которые оплавлялась свеча, я застал тебя с поличным. Ты забрала что-то из них, чего-то я не досчитался.

Озирается... Дрожь уже не только в голосе, а и во всём теле; обвинения слишком серьёзны, чтобы в ответ можно было отмолчаться.

– Не было ничего подобного!

– Зачем ты явилась? Уж не для того, чтобы справиться о здоровье старика...

– Как вы смеете...

– О, всё помнишь ты – как может быть иначе! Ты была...

Голос начинает захлёбываться, будто от удушья:

– Это... Это была вовсе не я...

– Значит, всё же была!

– Нет, вы всё не так поняли.

– О, гляди ж, чертовка, – взбредает в голову пригрозить ей, – случившееся не останется без последствий – мои записи были похищены, доктор читал их...

Тогда, с выпученными, полными смятения глазами, лопочет она о недоразумении.

Ну, решаю, довольно, и хватаю её за то самое плечо.

– Прикосновение многое объясняет, если слов недостаточно... Помнишь прикосновение?

– Пустите же!

Ломается... ещё поддавить, совсем немного...

– Так ты помнишь меня? – сильнее сжимаю плечо. – Отвечай же – тогда отпущу!

– Помню! Пустите, ради бога!

Ну, вот и всё – скоротечно, злобно, неистово!

О, какой дипломат погибает! Посмотрите только – один момент... и вопросы исчерпаны – ни долгих утомительных переговоров, ни бессонных ночей – раз и сделано! Стоит, пожалуй, попроситься в канцлеры Германии вместо Фейхтвангера: «Алло, Берлин? Слыхал, вы ищете канцлера... Есть один умудренный сединами человек с волчьим билетом от Королевского Суда Норвегии за попытку организации путча в богадельне... Что, уже нашли? Вот же, чёрт! И надо же, как назло, тоже с волчьим билетом за путч!»...

Продолжения нет – от Ольгиного визга просыпается госпожа Фальк и ёрзает под одеялами. Ольге того и нужно: мгновенно вырывается, хватает кресло со старухой, и вот уж скрипучим волоком его по аллее от пруда к «Вечной Ночи» – так я их и видел.

Преследовать – есть ли в том нужда?!

Довольно, довольно на сегодня неистовств! Губы до сих пор пылают, сердце пляшет тарантеллу и, того и гляди, зайцем выскочит из груди; сладостная уверенность в том, что день этот запомнится и ей, маленькой Ольге, не отпускает, как ни пыжится единственно хранящий трезвость разум подвергнуть эдакую опрометчивость осмеянию. Но если ж так, если ж впрямь горячо её любопытство к тому, чем дышу я в одиночестве огромной своей берлоги, то мы ещё свидимся! Быть может, следовало бы взять с неё слово, однако то, как сдержала она предыдущее... мда... Ведь она – настоящая женщина, а женщинам отродясь обещания – пустой звук.

И я решаю, что, корча из себя Хитклифа, поступаю единственно верно. Итак, прочь все обещания, заведомо невыполнимые, да здравствуют тёмные потаённые мечты, позволяющие видеть чуть больше смысла в происходящем и читать между строк, здрав будь тот единственный день, которым жив, завтрашнего мне не нужно.

Разумеется, она была иного мнения: я не увидел её ни следующим днём, ни последующим.

Но отрезвляет ли это? Чёрта с два! Напротив – всё упрямей, всё безумней, и всё отчаянней... Ты, что же это, влюблён, снедаем страстью, не иначе? Увы, болен, всего лишь, сошёл с ума...

Ежеутренне – трепеща у окна, ввечеру – в скомканной неприветливой постели с воспалёнными глазами и смятенным сознанием; с тех самых пор не спав ни мгновения, только и хлопот мне, не скрипнет ли дверь. Ни вода, ни пища, ни письма, ни собственные записи – дверь и ничего более!

И одной понурой ненастной ночью – не чудо ли! – прислышался мне тихий стук; точно укушенный, вскочил с кровати, и на негнущихся ногах, опрокинув по пути навзничь стул, заковылял к двери, но это лишь сквознячок пошаливал в пустом гнезде выкорчеванного дверного замка. Тогда запалил свечу, как тогда, дав ей оплыть на мои бумаги, и огонёк её мерцал, едва не затухая – я желал, чтобы всё было точь-в-точь как тогда – и уселся ждать. Лишь погода стояла иная – небеса разверзлись и заливали землю дождём, и всё посерело окрест; и вот в воде надежды – по щиколотку, по колено, по горло... – им уж было не выбраться, они захлёбываются и идут ко дну на моих глазах. Вот как: возжёт свечу, залил воском все бумаги, натряс сигарного пепла, а погоды... не мог изменить, как ни нащёптывал в окно всякие детские заговоры. И стало быть...

...Ни к чему всё, стало быть – она не приходит!

Тогда, кидаясь из крайности в крайность, начинаю думать, что помехой ей какая-нибудь досужая мысль или негласный запрет, а вовсе не Лёкковы отрешение и безумие.

Да, особняк поделен на женскую и мужскую части – из женщин к нам заходят лишь наши сиделки. Некогда приходила и старуха Фальк, но вряд ли без ведома Стига. Единственное место, где мы все можем видеться – столовая, или кают-компания, как её здесь называют. Можно встретиться и снаружи, но по разным причинам на улице появляются немногие, не страшась ветра, дождей и холодов. Иные выходят под присмотром, кого-то возят в кресле, двух-трёх человек, не более, старуху в том числе, но с момента той памятной встречи проходит время, несколько дней, а её, точно с намерением, больше не вывозили на прогулку, ни Ольга, никто вообще. Ей стало хуже, доктор запретил ей покидать особняк, звезда сорвалась с неба и прибила старуху насмерть – масса причин в голове, фантазия не иссякает – масса поводов у меня в мыслях и на языке, кроме очевидного – Ольга сама не хочет исполнять свои обязанности и всё из-за страха преследования некоего старого писателя. Это приходит чуть позже, и так, в образе шутки, выдумки обостренного болью и бессонницей разума. Едва лишь начинаю думать об этом, то тут же обзываю себя глупцом и слизняком, и отбрасываю, как можно дальше – как можно, чтобы такая мысль вообще посетила меня!? Для надёжности записываю её на бумаге, а затем с хищным отчаянием обращаю листок в пепел: когда он, характерно звонко хрустя, прогорает, таинственная радость, изгнав отчаянные мысли прочь, обволакивает меня.

Следующим днём сам прохаживаюсь вокруг здания, заглядываю во все окна первого этажа, наблюдаю за вторым этажом, но ничего особенного не вижу; стариковские глаза смотрят на меня в ответ, знакомые и малознакомые, а порою, что и молодые, глаза какой-нибудь из сиделок, любопытные, оценивающие, побуждающие присмотреться пристальней к ним... И присматриваюсь – вздор, выдумка, водевиль, обман! Сколь много глаз, и нигде нет таких молодых таинственно-глубоких, исполненных светлой грустью жизни, как у неё. Ничего тут не поделать – понятия не имею, где Ольга может быть.

Кажется, это окончательное фиаско... Что остаётся? Сидеть в берлоге своей злым на весь свет, курить и издеваться над Фридой – кратчайший путь забыться.

Но хочу ли забвения? И хочу ли быть «растением», отбрасывая то, что, пусть и подспудно и безосновательно, будоражит? Пусть лживо, пусть обманчиво, пусть насмешливо... но волнует, заставляет думать о себе, как о существе из плоти и крови...

Оставить всё так – слишком просто; когда я поступал так?!

И я не оставляю! В хмурой бездне дней, в крошечной тьме, зажигается огонёк, далёкий, точно отстающая на миллиарды световых лет от нас звезда, сокрытая тоской, затуманенная

великими расстояниями. Отчего случается это теперь? Это знак, ничто иное, знак! Обратной дорогой не пойти, она длинна и извилиста, но обернись – остались следы, глубокие и не очень, отпечатки моих стоп, не всегда чистые, не всегда верные, обрывки грёз и мечтаний... Вон они, видишь, до самого горизонта! И маленькая Ольга в тех следах, она – один из них, два или три, быть может, старинное-престаринное воспоминание, она явилась, чтобы смог я объяснить свои ошибки как можно лучше самому себе.

Что ещё? Желал бы я объясниться с ней? И сам не знаю...

Преследую её, не даю продыху, из-за меня не кажет носа она наружу и не вывозит старуху в парк – теперь обречена та чахнуть в четырёх стенах, и белый свет ей, как в копеечку. Да, я не могу себя контролировать – её глаза такие тёмные, так и зовут, но сами не отвечают на зовы, колются, налитые ядом. Господи, а что я скажу ей? Поведаю о следах? Спрошу, не вы ли были мне подругой в 1914 году в России, и не вас ли я приглашать гулять по кладбищу? «В своём ли вы уме?» – только и бросит в ответ она. – «Меня тогда и на свете-то не было, и в вашей проклятой России со всеми её кладбищами делать мне нечего, да и сама я северянка северянкой!». Ответит, да будет такова, с поджатыми губами, надменным взглядом, носом, задранном выше облаков... Ах, да, вы правы, чёрт возьми, но так ведь не напрасно уверовал в переселение душ я на склоне лет, не зря; и теперь, видите, я вполне мог бы стать ламой на Востоке.

V

Вдова Фальк не появляется больше в парке, а, стало быть, и мне делать там нечего – новое пальто вновь висит в шкафу моли на радость. Зачем только я его так добивался?

– Вы перестали выходить в парк?

– Беспокоюсь за вас, дорогой Стиг...

– Как же это?

– Вполне возможно разделить судьбу господина Шмидта: исчезнуть, затеряться в парке, не найти дороги назад. Тогда вам придётся отвечать на неудобные вопросы.

У доктора подобие благостного расположения духа – подтянут, элегантен, и очень молодо смотрится, юнец юнцом. Поднимаясь утром по звонкой радужной лестнице к себе, насвистывал под нос, и нарочито стучал каблуками, показывая, как ему хорошо. В таком положении, понимаю, с него всё, как с гуся вода. И от упоминания бедняги Шмидта впечатления – ноль, будто бы и не называлось этого имени; этого следовало ожидать – и озорство приедается.

– Это ничего, – непринужденный жест рукой, – мне не привыкать.

Тем более, что ни на какие вопросы он и не отвечал.

– Кроме того, – добавляю, – я пришёл к выводу, что воздух здесь не так уж и хорош для лёгких, что бы вы ни говорили.

– Эге, хитрец, – замечает доктор, – вот как вы обо мне беспокоились! Воздух! Надо подумать!? Но что я слышу, вы озаботились собственным здоровьем!

– Озаботился! Осколками его, тем, что ещё осталось...

– Тогда начните с курения – отбросьте табак, как ложь, как заблуждение, как помешательство, преступное малодушие... Знаю, у вас были проблемы с алкоголем – но вы же решили их!

– Проблемы с алкоголем, ха-ха!? Не было никаких проблем – с чего вы взяли?! – я просто пил виски и всё тут. Проблема ли, что человек может позволить себе хороший алкоголь и добрую сигару? Но что такое – вы считаете, в моём незавидном состоянии самое время бросить курить?

– Никогда не поздно!

– Что ж, я подумаю...

Обойдётся ли без конфронтации? Смотрю на доктора, а перед глазами... принесённое Фридой судно – оно так и стоит у меня под кроватью и порой служит мне пепельницей.

– Впрочем, это не мысли вслух, не совет даже, – говорит. – Рекомендация... Настойчивая рекомендация! Известно вам, что это означает?

Нет, не обойдётся!

– В таком случае, уже подумал! Пожалуй... гм, да, стоит ли убиваться... Конечно, буду курить и дальше – я курю уже двадцать лет.

– Словом, делать то, что у нас... не приветствуется.

– Именно так! И лучше бы вам закрыть на это глаза.

Доктор пристально смотрит на меня.

– Вы что же предлагаете мне разрешить здесь табак?

– Было бы неплохо, многие были бы искренне благодарны вам... Вы и сами курите, доктор – не так ли? – я видел у вас портсигар. Уж не кусочек же там пармезану! Боюсь только, вы этого не сделаете...

– Ну, отчего же?! Вы несправедливы. Прислушиваться к чаяниям жильцов (именно к чаяниям, не капризам!) считаю своим долгом, все вы мне дороги... Но, вы слишком много боитесь в последнее время, Лёкк, и всё за меня да за меня – кости в парке, неудобные вопросы, сигары... Впрочем, – задумывается, лицо чуть изменяется, – и в самом деле, я не меняю соб-

ственных взглядов в угоду кому-либо – вы правы! – но эта идея мне приглянулась, – голос его крепнет, но не повышается. – Непременно подумаю над этим!

«Ха, вздор! Подумает над этим!» – думаю я, но нутро всё трепещет от его странного соглашательства.

– Видите же мою благожелательность... – говорит, разведя руки. – И забота моя налицо! Разве не видите? – и далее спрашивает в доказательство: – Скажите, почему вы не бреетесь?

– Оттого, что у меня нет бритвы.

– Вы прекрасно знаете, почему у вас нет бритвы! Вы прекрасно знаете, отчего вынуждены обходиться и без гардин, штиблет со шнурками, и разрывать конверты руками, вместо того, чтобы разрезать...

– Понятия не имею, в том-то и дело!

– Вот как? А не вы ли, Миккель Лёкк, во всеуслышание декларировали, как опостылела вам жизнь, как подумываете свести с ней счёты? Каково! И вы хотите, чтобы такому лицу позволил я разгуливать с бритвой в кармане?

Декларировал, припоминаю, – третьего дня, – всё так и есть, но вслух удивляюсь:

– Окститесь! Когда такое было? Смертный грех, всё же – разве ж мог христианин...

– Вам удивительно, что мне известно это?

– Нет, это как раз и неудивительно, но я и впрямь не заикался о самоубийстве, ни сном, ни духом... Об убийствах, об уничтожении мира – да, богохульствовал невольно, случайно, призывал Казни Египетские на головы ближних, чертыхался – бывало, но суицид...

Доктор не дурак и прекрасно различает выдумку; он кивает и говорит:

– Хорошо, тогда думали.

– Господин доктор – гипнотизёр, маг, седьмой сын седьмого сына? Левитирует, глотает ножи, пророчит, читает мысли на расстоянии?

Доктор кривит тонкие губы.

– ...Тем не менее, задумайтесь хорошенько. Заметьте, сделайте выводы: вот другие господа, более разумные, скажем так, имеют возможность бриться – ради Бога! А вы... – он чуть морщится. – Фрида замечательно побреет вас, проблема ли?.. Видите ли, всё ж-таки, я не хотел бы, чтобы вы чувствовали себя одиноким и заброшенным.

При имени сиделки меня натурально перекашивает.

– Ах, Фрида... На фрёкен Андерсен бы я ещё согласился, но Фрида... Вернули бы мне бритву, доктор. Подумайте и об этом также.

– Что ж, фрёкен Андерсен навестит вас... – отвечает он, сверкнув глазами.

...Мы вовсе не думаем о Смерти, нам в этом просто нет нужды, и в этом смысле мы тут, конечно, счастливы. Смерть, напротив, думает о нас, заботится где-то, переживает... Счастлива ли Она – кто знает?! – быть всем нам доброй товаркой, заменять неразговорчивых, в собственных переживаниях сиделок, родственников... Быть повсеместно, и нигде! За обедом в тарелке супа и стакане компота, прищурься – Она, дразнит языком, манит пальчиком, верещит на разные лады...; с таблетками подносят Её – милости просим!; с инъекциями и капельницами втравливают Её в нас; и в кресле кто возит нас – не Она ли? Её столь много кругом, что перестаёшь чувствовать реальность её, а больше – надуманность, мифологичность – часто ли, в самом деле, примечается обыденное? Со Смертью играешь в лото, разговариваешь, засыпаешь, будто с плюшевым мишкой, в обнимку, и вот кажется уже, что и не так одиноко, и не так хмуро. Наша замечательная отзывчивая Смерть! Существует, заполняет собой лауну, шепчет во тьме, а вроде Её и нет – чудеса, да и только! Пропадает человек, Оскар Шмидт, только-только говоривший с нами, спорящий о политике, полный мыслей и предубеждений, а теперь

его и след простыл. Неделя пересудов: как да что? гроб? книжная полка? искать – не искать?.. И затем – молчок, будто щёлкнуло выключателем. И разговоры о Шмидте нынче, если и случаются по редким, по большей части бытовым, случаям – разговоры ни о чём, потому как жив тот или нет, перестает кого бы то ни было занимать. Был такой, спору нет, жил подле, кому-то соседом, кому-то приятелем, интересовался политикой и международными отношениями, а затем... уехал. Кажется, он и заезжал-то сюда по коммивояжерским делам, и вот отправился дальше – ну, что ж, люди странствуют, обычное дело. А если обмолвится невзначай кто, будто мёртв Шмидт, так это чепуха, побасенка! Пропал, исчез, улетел, растворился... всё что угодно, только не испустил дух...

Никто из нас не знает, от чего умирает другой. Нет, тайны из этого не делается, – какие тайны, о чём вы?! двадцатый век, сумасшедший и молниеносный, на дворе, – но любопытство ампутировано напрочь; мы знаем, что нездоровы сами, но не знаем, что там у соседей и зачастую, думая, что они здоровы и притворяются, полны к ним, всячески поддерживающим реноме отдыхающих, зависти. Разрушить стену молчания – легко, мне, также как и прочим, это решительно ничего не стоит! Но у меня никто ничем не интересуется, не задаёт вопросов, оттого молчу и я.

...И размышления об этом лишь только носят вид диалога:

«Здравствуйте!»

«Вы шутите? Я бы и рад здоровствовать, да не могу, увы».

«Вовсе не шучу. Почему бы вам не здоровствовать?»

«Потому что мы все больны, чёрт побери, мы насквозь гнилые».

«Вот как? Вы тоже больны?»

«Представьте себе!»

«А я, было, подумал, что это только пансионат...»

«Это и есть пансионат, глаза вас не обманули. Но что это за пансионат!»

«Даже не знаю, что и думать».

«Лучше и не думайте тогда, вам вредно думать».

«Чем же вы больны?»

«Чем я болен? Ха-ха! Вы думаете, будто я боюсь сказать вам это? Да ничуть не бывало!

«За чем же дело стало?»

«Сначала скажите, чем больны вы».

Хм, кажется, что-то подобное было, припоминаю. Вот только не помню, когда и с кем говорил об этом – не с собой ли?

Фантазии мне не занимать и частенько развлекаюсь я тем, что выдумываю болезни для счастливых бедолаг-туземцев, не забывая, впрочем, и о себе. Мои герои часто мучимы разочарованием, я же... падаю в бездну предубеждения, и вот-вот чиркну головой по дну.

Что это такое?

Предубеждение против жизни, вот что! Думаю, как нужно жить там, где никакой жизни нет и в помине, где только иллюзия, прекрасная и уродливая, с лицами Стига, сиделок, повара и садовника, и где реально неоспорима только Она, Смерть, и потому только, что в неё никто не верит.

Вот ещё, скажите пожалуйста, но ведь жизнь есть везде!

Увы, далеко не везде. Хотя, отчего «увы»... Быть может, кому-то по душе такое положение вещей. Вот хотя бы доктор Стиг, появившись здесь, в «Вечной Радости», жизнь, лишится и источника заработка, и любимого дела, ему придётся продавать в газеты статьи о собственных наблюдениях над туземцами. Добрый доктор Стиг! Эпический герой, явившийся спасти мир. Он говорит: «Ну, вот же, вот, руки мои, они чисты, как самые чистые воды, чисты и мои намерения. Я хочу спасти вас всех!» А ему не верят, беда! В нём сомневаются – ужас! И не только какой-то там малозначительный, как пыль, Лёкк, а многие! Доктор несчастен, ему

нечего кушать и не на что купить газет, чтобы узнать международное положение; до последнего тянет он с продажей душ наших дьяволу, и когда уж совсем невомогу, то скрепя сердце, изводясь, совершает сей тяжкий грех и заключает сделку с силами ада. И вот сыт он, а разум его так и кишит всяческими мыслями, потому как на голодный желудок ему совсем не работало. Ему нужно применить куда-то полученные в университетах знания, он жаждет добра и ищет справедливости. Но ему не к кому их применить – мы все давно на том свете, мы все давно в аду. В отчаянии, озирается он и видит лишь пустыню... Какое, однако, несчастье!

Тогда он кручинится изрядно, что ни в коем разе не сказывается на его умственной активности, и рассылает новое объявление по газетам о платном санатории для умирающих, для облегчения их душевных и телесных мук. Печатаются на доброй матовой бумаге и новые проспекты: полный покой, хороший уход, красные, белые и жёлтые таблетки, природа, место, равноудалённое от торговых путей и более-менее крупных городов, глушь, одним словом, но с электричеством, угольным отоплением и телефоном. Ему недолго ждать. Ту-Ту! Трубит пароход. Дзинь-дзинь! Колокольчик звенит в упряжи лошадей. Бип-бип! Сигналист автомобиль. Вот и прибыли мы умирать... то есть, кх-кх, прошу прощения, жить... на природе, с видом на лес и горы. Не прелестно ли?!

...Но беспокойно во фьорде море, птицы кричат, подставляя крылья порывам ветра, небо мрачно; где-то там, в небесной канцелярии, собираются объявить войну этому миру, так, лёгонькую войнушку, потрясти его немного, чтобы не слишком задирали нос. По тропинке меж прибрежных скал идёт человек, он идёт легко, быстро, почти бежит. У берега ждёт выкрашенная белым лодка. Человек прыгает туда с разбега так, что лодка под тяжестью его зачерпывает бортом, а затем садится на вёсла и хочет плыть.

– Что ты делаешь, несчастный?! Ненастье, погляди! Ты перевернёшься и пойдёшь ко дну!

– Нет, не перевернусь! Я не могу перевернуться, и лодка моя прочнее всех. Она крепче этих скал, и быстрее ветра, в одно лишь мгновение ока я могу перенестись в ней, куда бы ни пожелал.

– Что за самонадеянность?! Ведь ты же лишь человек, букашка, пыль на дороге, по которой ездит колесница вечности. Одного лёгонького толчка хватит, чтобы выбросить тебя прочь из твоего белоснежного корыта, а его разбить в щепы.

– Этому не бывать!

– Почему?

– Потому что я давно мёртв, а лодка моя уж два века как разбита и лежит на дне, а то, что ты видишь, лишь память о ней.

Человек оборачивается и машет рукой на прощание – глазницы его пусты, провал вместо носа. Мертвец, мертвец не бывает! Но, тем не менее, признаю в нём Шмидта. И будто бы мне страшно? Ничуть не бывало! Хочу плыть с ним на этой белой лодке, хочу быть таким же ледяным и бесчувственным, как он, жажда вкусить смерти влечёт меня. Но когда прыгаю к нему в лодку, то оказываюсь в ледяной воде. Барахтаюсь, захлёбываюсь, что-то тянет меня ко дну, и, одновременно, не пускает туда, мечусь между мирами точно птица, это продолжается целую вечность. Грудь сдавливают, голова воспалена, глаза выкатываются из орбит, язык пылает. Хочу умереть, но не могу.

Хочу умереть, но не могу – всё это вновь и вновь происходит со мной.

«Вечная ночь» открыта для новых постояльцев. Кто-то «исчезает», уходит без следа, и тут же новый пенёк заступает его место, а белая лодка ждёт на берегу во фьорде, она вновь пуста. Кто следующим отплывёт в ней – не я ли?

И как легко всё: покинуть особняк, пересечь парк, идти по дороге, спуститься к морю дорожкой меж скал, а там, в маленькой бухте – белая лодка.

Плыви куда пожелаешь.

Как всё просто, но как всё сложно!

Кают-компания бурлит шумом и весельем!

Нет, Шмидт так и не объявился, да и, судя по всему, вряд ли объявится уже («Кто это вообще такой, Шмидт?» – «Хм, имя, будто бы знакомое... Садовник?»), не оправилась от прогулки с Данте по чистилищу и вдовица. Прибыл новый постоялец, бравый артиллерийский капитан в отставке, он занял комнату Шмидта, а также и всеобщее внимание. Рябое, в оспинах, будто развороченное артиллерийским снарядом, а после сложенное по частям опытным хирургом вновь, лицо, с перекошенным носом, махровыми щётками седых усов, а руки – тёмные и скрюченные, словно по ним проползла гусеницами танкетка. Капитан – запросто просит он называть себя, и тем более без лишних церемоний...

– Что за профиль! – восклицание Фюлесанга. – Какой гордый вид! Истинный имперский Орёл! Вы в самом деле капитан? Не ошибка ли это? У вас стать и выправка истинного генерала...

Генерала? Хо-хо...

Нет же, оставьте, господа, оставьте! Не к лицу ему чужие звания, цветастые титулы... Он и впрямь офицер, капитан – ни прапорщик, ни, разрази меня гром, какой-то там жалкий фельдфебелишко – капитан, капитанистей и быть не может! Полюбуйтесь только мундиром – глаз не отвести! Нет, вы гляньте, гляньте: настоящий кайзеровский «ментик» с грозно смотрящими с сияющих пуговиц пушечками – таких теперь и вовсе нет, так же, как и таких отважных капитанов, прежде были, нынче – все вышли. «Впрочем..., – Капитан хмурит лохматые кусты бровей, упирается руками в бока, становясь похожим на самовар с обвисшим сапогом на макушке, а каждая оспина на его лице наливается гневом. – Если у кого возникли сомнения в моём капитанстве...».

Ого, воздух пахнет... да прямо-таки смердит – нет, вовсе не озоном, и не дымящимся, разлитым по чашкам, кофе – дуэлями, сатисфакциями; воздух так и дребезжит от веселящего звона шпаг, угрюмого треска дуэльных пистолетов, и прочей высокопарной дворянской шелухи...

– Что вы, что вы, дорогой друг, как можно! – уже подпустил в штаны Фюлесанг, любящий сам порассказать за столом, как дважды штурмовал Южный Полюс. – Ведь перед Верденом там, либо Арденнами, Южный Полюс – ничто, не так ли, господин Капитан?

– О чём может быть речь, чёрт побери! – крепко и вовсе не для женских ушей высказывается Капитан.

Но наши дамы в восторге от Капитана, насколько тот брав, шикарен и обходителен, истинный гусар, и уже готовы скушать а со всеми потрохами Лёкка, едва я бросаю в его сторону полный сарказма взгляд. Хоть Капитан и норвежец по отцу, но со стороны матери – немец, потомственный вояка, и в последнюю войну был в кайзеровской артиллерии на востоке, получил там несколько ранений (одно или два из которых, несомненно, в темечко), пару железных крестов, которые до сих пор претенциозно носит, а также неприязнь ко всему славянскому, награду посерьёзнее каких-то там крестов или нашивок.

– А вот у нас тут есть русский, обратите внимание... – тут же кивает в мою сторону исполненный миролюбивой мудрости господин Фюлесанг.

Тогда гром и молния сотрясают высокую залу кают-компаний:

– Русский?! Как, и здесь они??? Да что ж это такое, как можно?! Русские оккупировали Норвегию?! Боже, как позволил ты дожить до этого момента старому солдату, наполовину норвежцу?!

– Нет, они пытались, но мы не позволили! – кричит Фюлесанг. – Встали, как один, плечом к плечу, как настоящие викинги... Ни единого шанса! Этот русский здесь – военнопленный, мы захватили его безоружным, а других уж нет. Взбодритесь, ваше превосходительство!

– Что, бегут? Уже? Ого, вот «храбрецы»! Намылили пятки, черти, и бегут?! Ха-ха! Поддай им жару, солдат, что б запомнили на всю свою жизнь, как шляться по нашим девкам! Заряжай, солдат, слышишь? Ухнем шрапнелью...

Моя национальная принадлежность, ясное дело, «несколько» тяготит дорогого друга Капитана и, хотя я и «жалкий военнопленный», вместе в одном обществе нам быстро становится находиться не слишком уютно. Враждебный взгляд, присущий исключительно артиллеристу – угрюмый, исподлобья, с прищуром, но осторожный (кажется, русские изрядно всыпали его части...) сопровождает меня повсюду. Кажется, за пазухой Капитан держит гранату персонально для меня и немедля бы выдернул чеку, подорвав и меня, и себя заодно, если бы кругом не было милых дам и так хорошо принявших его господ. Ну, пожалуй, за такую героическую смерть лишний крест от Императора Вильгельма полагался бы ему, так что об этом стоит подумать всерьёз.

И не знаю, как насчёт всей Норвегии, но из кают-компания я точно с «позором» ретируюсь...

Но случается неожиданное: вдруг меня перехватывает профессор Сигварт, возбуждённый, с испариной на лысине, и отводит в сторонку: «Погодите, господин Лёкк...».

Профессор Сигварт – не обознался ли я? Он наблюдал за мной и желает отрекомендоваться. Видно, готов уже к новым боям – на место инертного Шмидта пришёл новый человек, пангерманец, который так просто не выбросит белый флаг, за одно лишь упоминание Фейхтвангера... как жажнет саблей – голова прочь! Что, у него нет сабли? Тогда он испепелит врага одним взглядом – а это не шутки! – он и на такое способен.

Но что случилось, к чему все эти обхождения? Сигварт полагает завербовать меня в союзники, он ещё помнит, как я невольно помог ему в спорной ситуации с покойным Шмидтом, ведь так? Или это какой-то глобальный заговор, авантюра, куда он хочет втянуть меня. Революция, свержение короля с трона, судя по его взволнованному виду, не иначе. О, подумайте хорошенько, господин профессор – доктор Стиг вряд ли оценит это, сердце его не выдержит и разорвётся.

Но профессору нужно вовсе не это, не хочет он и свергать короля с престола.

– Вот что, дорогой Лёкк, – говорит профессор проникновенным заговорщицким шёпотом, – вы тут самый нормальный человек, я это давно понял. Я запомнил вас ещё тогда, во время спора со Шмидтом, запомнил и позавидовал вашему самообладанию. Вы не находите, что здесь у нас нет никакого будущего, здесь мы просто чахнем и больше ничего?

Ого, профессор! Да вы растёте прямо на глазах! Вам хватило нескольких месяцев в этой благословенной обители, чтобы понять, что тоска сидит у изголовья вашей кровати и щекочет вас за ухом, точно старого ленивого кота, а вы только потягиваетесь, зеваете себе в бородёнку, да подставляете бока заботливым рукам.

– Нахожу, ей богу, – отвечаю с прохладцей, – особенно в дурном расположении духа.

Позади бушует вулкан в кайзеровском мундире со знаками отличия капитана – неясно, от радости либо с горя, что русский так скоро покинул его – оборачиваюсь и подмигиваю ему, и машу рукой на прощание, чтобы ему полегчало... И тогда профессор Сигварт также подмигивает мне, но серьёзно, с хитрецей человека, наверняка знающего какую-то скрытую для всех прочих истину.

– Именно! – торжествует он. – Не подскажите ли, что нам, в таком случае, делать?

– Батарея, слушай мою команду! – под гробовое молчание общества командует, безумно вращая глазами, Капитан. – Шрапнелью, по отступающему противнику...

– Что делать? – смотрю в лицо профессору, и вдруг встречаю самый пристальный взгляд, который когда-либо видывал. – Пишите записку на трёх языках: «Такого-то числа, такого-то года, трёхмачтовое судно «Британия»..., записку в бутылку, бутылку – в море на тридцать седьмой параллели...

– ...Огонь!!!

Мотает головой:

– Прошу прощения, не понял...

Немного оторопеваю: вдруг становится неловко дерзко подначивать его, словно бы я издеваюсь над... собственным братом, что ли... Да ещё и не читавшим Жюль Верна – надо подумать!

– Не важно... – отрезаю, но тут же мягче: – Что делать нам, я знать не могу, однако же вам, если вы всё так хорошо осознаёте, стоит поискать местечко почище скоротать свои деньки.

Бах! – резкий хлопок, за ним грохот – Капитан заехал хлипким стулом в стену и тот – вдребезги.

– Ура! Вперёд! – орёт Фюлесанг. – Победа близка!

Ну, Капитан, вернее всего, напросился...

Затерянное в дебрях бороды лицо тут же искажает забавная гримаса неудовольствия.

– Нет, я теперь говорю вовсе не о другом... – кряхтя, с видимым усилием, выдавливая он из себя, на ходу соображая, как именно назвать место, где мы пребываем, и находится чуть позднее: – ...санатории.

Любопытное название – не припомню, чтобы от кого-то ещё слышал его... Впрочем, я и сам-то вряд ли с уверенностью отвечу, как его называть.

– С чего вы взяли, что я имею в виду иное... кхм... место... санаторий? – отзываюсь.

Воодушевляется:

– Тогда что же?

– Э, нет, профессор: право, вы искали общества Лёкка, не Лёкк – вашего, так будьте добры высказаться первым.

– Господин Капитан, господин Фюлесанг... – знакомые голоса – три сиделки и дюжий работник им в помощь. – Господа, что здесь происходит?

Мы с Сигвартом оглядываемся – тут уж явно и Капитан подпускает в штаны, прекращает орать о победе над русским оккупантом, и немедленно траурным голосом затягивает *Ja vi elsker dette Landet*; подпевая ему, чтобы не показаться непатриотичными, сиделки с работником тихонько окружают его – у одной из девушек в руке шприц.

– Да, ваша правда, – смущённо кивает Сигварт, сменяя свой таинственный шёпот уважительным баритоном, – но... могли бы мы где-нибудь переговорить?

Повожу плечами:

– Не знаю... Чем вам кают-компания не угодила?

– Понимаете, всё это – не для чужих ушей!

– Ясное дело! – отвечаю.

Сразу же мелькает мысль позвать его ко мне на сигару, но откровенничать... Вот ещё! Брат он мне, что ли, сват? Есть нужда – пусть говорит первым.

И он говорит-таки, дрогнув, но, всё же уверенно:

– Быть может, у вас?

Чопорно, вяловато, будто нехотя, вразвалочку, хор насельников подхватывает гимн – кто-то даже и вскакивает, схватившись рукой за область селезёнки. Под хрипящие, булькающие, сопящие, но бравурные звуки Капитан был взят в плен ласковыми девичьими руками. «Сдаюсь, сдаюсь...» – покорно скрипит он, и сдаваться ему, видимо, далеко не в новинку.

У меня, профессор? Ну, так это же... гм.

– Милости прошу... – подумав, говорю с некоторым недоверием.

Конспирация всё одно соблюдена: сперва кают-компанию, в тот самый момент, когда игла шприца погружается в рыхлую капитанскую вену, оставляет Лёкк, затем же, особо оговорившись скверным присутствием духа – профессор.

Некоторое время спустя уже у меня в комнате профессор Сигварт всю рассуждает об артиллерийском капитане, нашем новом постояльце:

– Одним солдафоном больше, одним меньше! Он такой же, как этот его Вильгельм, как этот его разлюбезный Гитлер, одного поля ягоды, у них и на лице-то одно – кровь, грязь и всё в таком духе. Сейчас он не сказал ни слова, но завтра он, угрожая нам оружием, будет настаивать на том, чтобы мы возлюбили Гитлера, как самого Капитана! И никто, слышите, никто не возразит, все будут делать вид, будто так и нужно, будто так и задумано.

Яростно отмахнувшись от предложенного стула, вышагивает из стороны в сторону по комнате, полный кипящей энергии, размахивая руками, не остыв будто ещё от давней сшибки с Шмидтом, либо же загодя готовый дать отпор новичку-Капитану в чём бы то ни было. Я же, напротив, спокойный, даже равнодушный, как всегда на публике, сижу на своей кровати, подперев руками подбородок.

– Он упоминал Гитлера? – придирчиво оглядываю его.

– Ну, если и не упоминал, так скажет! Дело решённое... У него и камешка-то под мундиром наверняка имеется, а на ней, вместо любимой бабушки – австриец, да медальончик с его же физиономией...

– Ну, вы сгущаете краски.

– Вовсе нет!

– Хорошо, но что вам-то до этого, профессор?

– Что мне до этого?! – от удивления он даже останавливается на миг. – Ничего, в том-то и дело, Лёкк, бросьте! Всех этих господ я выше, но мне безразлична судьба мира и живущих в нём, вот что.

– Ах, я и позабыл...

Что ж, вот предо мною человек приблизительно на седьмом десятке, профессор Сигварт, магистр то ли биологии, то ли экономики, либо и того, и другого. Мы с ним «добровольно» заключены в пансионат для не имеющих никакого будущего туземцев, продавших себя за бусы, для «овощей», и сам он овощ из овощей, его пропалывают, иногда поливают и обкладывают удобрениями, чтобы хотя бы ствол его не так уж скоро ссыхался. Но, тем не менее, он сверкает красноречием о том, до чего ему не должно быть никакого дела.

«Что за странный взгляд на вещи», – заметил бы он мне на это, – «будто мне нужно говорить лишь о смерти, да выбирать материал для обивки собственного гроба».

Не менее странный, чем у вас, дорогой профессор, за исключением того, что мой несёт в себе гораздо больше логики, столь любимой представителями точных наук.

Молчание. Профессор продолжает ходить, заложив теперь руки за спину, сухонький, нескладный, цаплеобразный, точно на кафедре перед слушателями курсов; кажется, он молится либо собирается духом.

– Не желаете ли сигару, профессор?

Остановившись, как вкопанный, оглядывает меня со смесью удивления, восхищения, ужаса, и бог весть чего ещё в лице.

– Как это? Прямо здесь?

– Ну, гулять я нынче точно не намеревался, – отвечаю, припомнив, отчего-то, Ольгу и вдову.

Сигварт бледнеет.

– Но... как же... это же... нельзя, это запрещено...

– Кем? Когда?

Вместо ответа, слышу нечто пространно-утвердительное:

– Для организма табак – яд!

«Однако гляди ж ты», – посмеиваюсь себе, – «безнадежно здоровый теперь, а в будущем – скоропостижно излечившийся, человек!».

Ну, что ж, ваша правда, самое время хлопотать о здоровье, именно здесь – местечко более чем подходящее! Я и сам стал печалиться о нём денно и нощно, благодаря доктору – вот, даже подумываю о том, чтобы завязать с сигарами, хе-хе... Впрочем, Сигварт, конечно, взволнован больше тем, как легко, играючи пренебрегает Лёкк вероятным неудовольствием доктора, и что это, несомненно, грозит последствиями, а то и катастрофой, самому профессору. Грозит, грозит, профессор – нас видели вместе, и доктору уже донесли... Гм, задумываюсь: в самом деле, он будто вошёл по своей воле в лепрозорий, где всякий поражён язвами и струпиями, и всякий исходит кровью, гноем и безразличием – вернётся он оттуда прежним?

– Ах, если б знать прежде! – кручинюсь, едва не рву на себе волосы.

– О чём знать? – непонимающе вскидывается он.

Всплескиваю руками:

– Чёрт возьми, что курить у нас запрещено! Я бы, ясное дело, тут же бросил, «как заблуждение, как помешательство»... Ай-яй-яй! Как можно! Но... – плутовски подмигиваю профессору. – Раз уж случилось так, что я не был осведомлён, то мне простительно, не правда ли (мы ж с вами, слава Богу, всё-таки, не какие-то там копошащиеся в нечистотах юридические глисты – «незнание не освобождает от ответственности...» и все такое прочее)? Делать нечего, закурю, с вашего позволения, – извлекаю свою пепельницу с утренней половинкой сигары. – Ведь вы же не выдадите? (он трясёт головой и отходит чуть дальше) А в вопросе мира... вряд ли нам с вами сойтись. Лично мне наплевать на его судьбу, так же как и ему на меня – это у нас, видите ли, взаимно, ха-ха...

И чиркаю спичкой, раскуриваюсь, искоса наблюдая за гостем сквозь душистое облако чада. То трогаясь с места, то вновь останавливаясь, притаптывая, не сводит с меня озадаченных глаз, видно, надеясь, всё же, на шутку, выдумку с моей стороны – вы же, конечно, не станете курить здесь?.. вы же, конечно, пошутили?.. Но устойчивый, вьёвшийся в стены, потолок и карнизы, табачный дух, отвечает: вовсе не шутит Лёкк – он частенько покуривает здесь, не особо скорбя о последствиях. Эх, знал бы он, что приходится Лёкку за это выносить!

– Как можно, как можно! – наконец, отзывается он с тайной надеждой в голосе. – Мы – такая же неотъемлемая часть этого мира, как и любой из тех, кто живёт там, чувствуя себя полностью счастливым – ведь они живут благодаря нам. Мы – его скелет, мы – его мозг, его опыт и сила, нам нужно думать за кого-то, потому что за нас о том, в чём мы не разбираемся, тоже кто-то думает...

...Мы прах его, и пепел, и горькая зола...

На что надеется он – что я поддержу его, рассыплюсь в признаниях любви к жизни, буду умолять о пощаде ради того, чтобы прожить деньком больше? Надеется ли вообще на что-то?

– Оставим, профессор, ей-богу! – машу рукой. – Кажется, вы обмолвились, что хотели бы покинуть нашу добрую обитель... Я не услышался?

Морщится, – мучительная тень на лице, – рождается (либо воскресает?) сомнение; и вновь, в который раз, остановившись, с надеждой обращается на меня.

– Лёкк, могли бы вы подумать себе, что здесь вовсе не обитель, не пристанище уставших от сует мира душ... – начинает загодя, осторожно, затем, умолкнув, тщательно всматривается в моё бесстрастное лицо.

Ждёт... ответа? Знака?

– А что же? – широко зеваю, потягиваюсь. – Институт благородных девиц? Лувр? Тадж-Махал?

Да ни черта не ждёт! Продолжает всё с той же тоскливой таинственностью:

– ...Красивая вывеска, старинные стены, увитые виноградом, литая ограда, парк... Господи, как всё спокойно и благостно, просто квинтэссенция спокойствия! Однако, – переходит на шёпот, – всё вовсе не так, как кажется на первый взгляд...

Ого! Призадумываюсь: открытие следует за открытием, воистину, вот только каждый достигает этого в своё время!

– Улыбаетесь... вам забавны мои слова... – убеждённо продолжает гость. – А мне вот не до смеха, когда на глазах рушится то, что знал я прежде... Господин Шмидт запропастился куда-то; мне кажется, что-то случилось, что-то необратимое, роковое! А видели ли вы госпожу Фальк? Она явно не в своей тарелке...

– Ага! – так и осеняет меня. – Вот и попался, Фома неверующий!

Смущается:

– Нет, я верую в Господа, хоть и не особо религиозен... О чём речь?

– Неважно, профессор! Все еретики истинно веровали, а кто-то был и аскетом – оттого, собственно говоря, они и ударились в ересь. Впрочем, мне радостно, что вы обнаружили, – поглядываю искоса. – Ради Бога, не вздумайте вешаться на гардинах до поры!

– Нет у меня...

Шаги в коридоре накладывают печать на уста – то ли сиделка идёт мимо, то ли кто-либо из туземцев разминает затёкшие члены – но профессор умолкает пристыженно и втягивает голову в плечи. Навостряем уши – удаляются шаги, вороны повсюду ругаются в парке, из кают-компаний доносятся здравицы в честь новоприбывшего Капитана, буйство которого сменилось спокойствием...

– Нет у меня никаких гардин... – со странной грустью шепчет Сигварт чуток погодя. – Мне нет в них нужды – я люблю солнце и простор! Впрочем, какое это имеет значение...

Я, обычным тоном:

– Нет-нет, конечно, никакого! Сделайте милость, продолжайте...

– А что я говорил? – совсем по-доброму рассеянно, где-то даже жалко, озирается в комнате – авось, обнаружится сбежавшая куда-то мысль...

– Кажется, что рухнуло ваше знание... И даже никого не убило. Ты гляди-ка, нет гардин! Мда... (профессор вновь непонимающе вскидывается). Простите! А ещё о Шмидте, о вдове Фальк.

– О Шмидте?.. Да, так вот: случилось нечто... ужасное! Шмидт, скорее всего... мёртв.

Становится совсем любопытно – какая ещё может быть политика, какой ещё Гитлер!

– С чего вы взяли, что он мёртв? – спрашиваю я, и даже вздрагиваю от «неожиданности».

– А вот послушайте: логика... – и осекается; вдруг глаза его начинают непостижимым образом бегать. – Нет, какая к чёрту логика! Правда, я пытался подвести логику под случившееся, да не вышло – конечно, никаких доказательств у меня нет, но ощущения... Словом, ощущение...

– Говорите яснее, прошу вас!

– Нам морочат голову со Шмидтом! – бах! – ставит он печать; хотели ясности – извольте...

Ясные, совершенно не стеснённые долгими годами жизни, глаза, так и лучатся уверенностью – с такими глазами шли в бой, на костёр, лезли в горы, погружались на дно морей...

Я, до предела задумчиво:

– А вы, как я понял, не хотели бы быть тем, кому морочат голову...

– Не хотел бы... – тревожная улыбка теряется в бороде. – Человек стремится к знанию, это заложено в нас Природой. Но также он стремится и к справедливости!

Социалист? Ого...

– И вы решили, помимо всего прочего – нам морочат голову...

– Именно! Но... беда... – в его голос прокрадывается неуверенность. – Мне кажется, я единственный, кто задумался над этим.

– Видимо, так...

Оживляется.

– Но странно же, противоестественно – не видеть, не замечать очевидного! Человеку даны глаза, уши, органы чувств и осязания, это – дар Божий, сокровище, а он этим не пользуется.

«Не видеть очевидного – это, как-раз-таки и естественно, вполне себе по-человечески...», – думаю я, а вслух спрашиваю:

– То есть вы что-то видели, либо слышали? Нечто интригующее...

Вместо ответа Сигварт хитро, заговорщически смотрит мне в глаза.

– Скажите, что знаете вы о герре Шмидте?

Едва напрягается память выложить по порядку общеизвестную информацию, он уже упреждает:

– Прошу прощения: что толковали о Шмидте после его исчезновения?

Тут даже и думать не о чем!

– Ну... помимо слухов, дескать, кто-то где-то... мельком, отзвуком – то ли самого, то ли тень... ничего...

– Ничего, как есть, верно! Практически ничего... тупик, туман, мгла. Но... доводилось, пусть бы и ненароком, слышать вам рассказы госпожи Розенкранц?

Усмехаюсь:

– О гробе (при упоминании гроба профессор заметно морщится)? Да, знаю... Но ей примерещилось, вы же понимаете – это, скорее всего, и случилось!

– Ничуть не примерещилось ей! – будто бы покорблен он таким недоверием к госпоже Розенкранц. И, перейдя на мистический проникновенный шёпот: – Это не рассказы, это и впрямь был... – и смолкает, демонстративно прикрыв рот всей пятернёй.

Догадываю сам, делать нечего:

– ...Ящик с книгами! – хмурю брови, скашиваю глаза.

– Ящик с книгами?! – хохочет надрывно и как-то болезненно. – Ага! Футляр от фортепиано, пиратский сундучок с награбленными пиастрами, что-то ещё... Вот же вздор! Я тоже слышал об этом и... вот что, Лёкк: не верю ни одному слову!

– О, кое-кому из общества вы, верно, теперь – смертельный недруг...

– Наплевать! – машет рукой. – Удивительно иное – сам Миккель Лёкк верит в это!

Сам Миккель Лёкк!!! Звучит камерно, напыщенно, и невероятно глупо... как-то вроде «сам Джордж Вашингтон» или «сам Робеспьер»... Что такого необычного в Лёкке, чего нет в других?

Но... морщу лоб: впрямь верю я?! Да, бывает, и стулья летают, бывает, внезапно испаряются предметы, а что-то материализуется прямо из воздуха – хочу верить в то, что мне по душе, и, услышав о книжной полке, я убеждал себя, что так оно, конечно, и было. Мне это нравится – отчего должно быть иначе, отчего вполне симпатичный мне Шмидт должен был именно умереть, когда кругом столько иных путей? Видит Бог, я не желал этого! И да, чёрт вас побери, я верю в прекрасную обольстительную ложь, хотя и вижу всё, и всё представляю очевидным! А моя (а теперь вот и Сигвартова) правда... кому в ней нужда, если и сам я задумываюсь оборвать всяческие сношения с ней?

Но... ярится, беснуется сердце, неистова кровь в висках. Жду немного, пока не схлынет пленяющая мука вскрытого нарыва лжи, затем, уже серьёзнее, говорю:

– Хорошо, профессор, допустим, герр Шмидт и впрямь мёртв, – тут же он открывает тёмную пещеру рта, чтобы возразить, но я опережаю, повысив голос: – Настаиваю: допустим! Допустим, не обмануло госпожу Розенкранц в первый случай зрение, и впрямь видела она

гроб. Допустим также, случилось нечто, о чём заинтересованные лица предпочли умолчать; не солгать, как вы говорите, а умолчать – не бог весть какой проступок, да... Но что с того? Вы хотели бы уйти – верно я понял?! – но не смерть же вероятная, но, заметьте, неподтверждённая, Шмидта, не гроб-книжная полка госпожи Розенкранц, исключительным побуждением к этому... Загодя думали вы об этом, ещё до всего этого, ведь так?

Он задумчиво, смятенно скребёт лысину.

– Возможно, возможно... Всё было постепенно, шаг за шагом, без взрывов и неожиданностей – брр, как я не люблю всего этого, неожиданностей, сюрпризов. Да, совершенно точно, это не спонтанность – вовсе я к ней не склонен, вернее будет сказать, чураюсь её...

– Итак, вы думали об этом, и... к чему же пришли? Вас гнетёт здесь нечто, или некто...

Качает головой, затем, вдруг оживившись, кивает.

– Помимо всего, атмосфера, пространство... Да, главным образом, атмосфера!

– Атмосфера?

– Неправды, обмана, подлога, бездействия... либо псевдодействия... – умоляюще смотрит на меня, – Ведь всё тут – ложь, всё! Вплоть до людей, их мыслей, вплоть до дорожек в парке и стен! Иногда, кажется и сам воздух тут лжив, двуличен – то любит, приветает, балует, то... рычит, скалит зубы...

Но Лёкк неумолим:

– Факты, будьте любезны?!

Вновь в отчаянии смотрит на меня, поднимает руки – ну, как это, дескать, не понимать очевидного...

– Боюсь, этого не объяснить фактами! Факты... как бы это выразиться – слишком низкая категория для душевных построений. Фактами можно доказать отсутствие Бога, но так ведь чувства скажут верующему иное, и его не переубедить. И это, знаете ли, на уровне чувства, ощущения, прикосновения, это... на тактильном уровне, как любовь, как дружеская привязанность... без пошлости, без хвастовства. Может статься, и слов для этого ещё не выдумано, ни норвежских, ни русских, никаких – есть ведь в периодической таблице элементы ещё не открытые, но заранее уж туда заложенные!

Странная убеждённость, жаркая, пылающая... убеждённость муравья в том, что нужно все силы и всю жизнь свои отдать на защиту и укрепление муравейника. И впрямь, будто какая аскеза! Это трогает меня – в самом деле, как бы плохо я ни знал его – всё ж таки мы знакомы понаслышке – его решение разделить со мной некие собственные откровения, пусть бы даже и пригрезившиеся ему в бреду бессонницы или тягостном дурмане боли (он же знает, что такое боль?) пробуждают доверительное сочувствие. А тут он, вдобавок ко всему сказанному, ещё и заявляет невообразимо твёрдым голосом:

– Существовать в атмосфере неправды – гнетуще, если хотите! – и отчаянно грозит пальцем какому-то невидимому, но могущественному врагу.

Ого, профессор! Глаза лезут на лоб от таких откровений, и возрастает средняя температура по телу примерно градуса на два-два с половиной, и рубцы на теле, ужаснувшись, расщипываются... Нет, я верю в эту убеждённость, купаюсь в этой вере, как в чистом источнике, но... Но, не ошибка ли это всё, впрочем? Заблуждение, описка, опечатка, клякса... Туманное затмение, всегда посещающее человека, переживающего себя несчастным и покинутым, словом, отчаяние?

– Хм, а если это ложь во благо? – спрашиваю задумчиво, кажется, будто самого себя.

Он мгновенно вспыхивает, выказывая несвойственную норвежскому подданному вспыльчивость:

– Мне уж, во всяком случае, этого не нужно, благодарю покорно! Хочет господин Фюлесанг лжи во благо – пожалуйста, хочет госпожа Розенкранц – милости просим... Но не я! Да и где тут благо, дорогой Лёкк?

– Мы к этому придём позднее, – говорю предельно размеренно, терпеливо, – к передовым методам господина Стига, и всему такому прочему... Скажите сперва, что это за блажь появилась у вас – ничего подобного отродясь не появлялось здесь?!

Профессор нервно покусывает бороду.

– Поистине удивительно, как вы называете откровение блажью... Впрочем, знаете ли, у меня два сына, оба – чрезвычайно занятые люди, и когда я сказался нездоровым, оказалось, что некоторый постоянный уход требуется за мной, которого они, мои мальчики, не могли мне предоставить. Право, не знаю, зачем я это говорю...

– Одним словом, вас выбросили, Сигварт, – холодно и просто заключаю, – на эту людскую свалку, в отхожее место самой жизни! Отправили заканчивать деньки навеселе в сей расчудесной обители, откуда вы, тот ещё мятежник, задумали дать дёру. Так вот чем хотели поделиться вы?! Так вот что навело вас на минное поле раздумий, где вы на удивление долго блуждали, прежде чем подорваться? Обычное дело! Что ж поделать, коли мы уж на обочине, ненужные ни детям, ни самой судьбе.

Истина, бесцеремонно-грубая, задевает, а, возможно, и ужасает его.

– Не рассуждайте попусту о том, с чем незнакомы даже поверхностно, – вскипает, покраснев, – в моей семье всё было иначе, нежели у других! Я сам упросил их, если уж на то пошло – зачем вам возиться со мной...

– И они, конечно же, с радостью согласились!

– Не с радостью, и не соглашались, – кричит он, совсем забыв о том, что недавно говорил шёпотом, – долго не соглашались, и затем лишь, осознав отсутствие всяческого иного выхода... Всё, что было у меня, всё – подписал, отдал, ради бога... Но, какое это имеет значение, когда всё уж случилось, ничего не переменить?! И я вовсе не о том говорю, не о своих отношениях с детьми, оставим это.

Молчание. Подозрение зудит душу – так просто не изничтожить его! – половинчатое, однобокое профессорское знание, выросшее из зёрен его собственных догадок, привидевшихся вполне обоснованными подозрениями, определённо хуже незнания абсолютного, но оно даёт хотя бы иллюзию. Что даст знание абсолютное, нужно ли оно? И нужно серьёзно думать, откупоривать ли ему сосуд знаний, или же просто отпустить с Богом.

– Если вы ждёте от меня извинений, то напрасно, – говорю. – Да, пожалуй, я был резок, однако, в нашем возрасте правда уже не должна колоть глаз, Сигварт. Если вас покусала собака, не станете же вы утверждать, будто это был комар – комариный укус вряд ли спутать с собачьими зубами...

Нет, Сигварту вовсе не хочется заниматься бичеванием собственных детей, хотя, в иное время, быть может, он бы и сказал пару слов на этот счёт. Смотрю на этого долговязого тщедушного человечка, смотрю пристально, и мне впервые за долгое-долгое время становится обидно. Мягкие и неприветливые друг к другу, чересчур суровы мы по отношению к самим себе – я таков, таков же и он... Признак ли это дряхлости, изношенности мыслей и взглядов, совершенно искажённого способа нашего нынешнего бытия, либо ещё чего-то – кто бы поведал?!

– Словом, я хотел бы покинуть это место, «Вечную Радость», – продолжает Сигварт, чуть поостыв, – мысль эта родилась у меня...

Неловкая пауза. Сигварт копается в памяти – это выглядит ковырянием в гнойных незаживающих ранах – и болезненно, и малопривлекательно.

– И как же давно, профессор?

Встребенул, лихорадочно смотрит на меня, но, впрочем, быстро возвращается к прежнему своему состоянию пространно-меланхолической возбуждённости.

– ...Недавно, Лёкк, недавно... либо же... с самого своего появления здесь хожу с ней, вынашиваю, будто слабенькое, но обещающее окрепнуть в будущем, дитя. Наверное, всё же

загодя до этих событий! Однако, именно исчезновение одного из нас и резкие метаморфозы с другой... и все эти недомолвки... да, особенно все недомолвки... оформили-таки побуждение в чёткую идею, и гипс наконец-то застыл, стал каменным. Нынче здесь, – указывает пальцем на свою высохшую неурожайную макушку, – нечто цельное, монолит, глыба, и не просто так, а ответом на некоторые вопросы. Да, я задавал вопросы, сначала сиделкам, затем же и некоторым постояльцам...

– Например, господину Фюлесангу?

– Этому в первую голову...

– И господину доктору... – иду на обострение, поддеваю.

– Что вы, Лёкк! – ужасается Сигварт. – К господину доктору и приблизиться-то неловко – важный занятой человек – кто я, и кто он! Да и отсоветовали, знаете ли, добрые люди...

– Ну уж... – хмыкаю я, а у самого на уме: доктор выискает повод сблизиться с ним – теперь уж вернее всего!

– Задавал, натурально засыпал вопросами, в конце концов, я и себя самого, именно – я всегда так делаю! – и если ответы не удовлетворяют, уж тогда копаюсь в себе для их разрешения.

– Что ж, хорошее качество, – замечаю.

– И в тот раз не думал я о своих детях, и о покойной госпоже Сигварт, я не думал об окружающем мире, о войнах, голоде и невзгодах. Я задумался о себе, в кои-то веки, о своём месте, о том, что теперь являет из себя тот, кто в том мире с гордостью именовался профессором Сигвартом...

– Вот как! – удивляюсь такому пафосу.

– Да, так... И вот представьте себе: господин Шмидт, госпожа Фальк... Не подумайте дурного, никогда не плясал я на костях... то есть, я хотел сказать...

– Нет, вы всё верно сказали! Даже слишком верно...

– Виноват! Что мы имеем? Некий ряд лиц, которые связаны единой судьбой, так? Имеем и другой ряд... Ряд тех, кто может встать в ряд первый – исчезнуть, измениться, возможно, уме... Простите, ради бога! – конфузится, и далее, с воодушевлением: – Короче говоря, что-то происходит, что-то ужасное, что никак я не могу осознать, объять, охватить. Шмидт исчез, исчезла, но вроде бы и нет... госпожа Фальк... Всё как-то переменчиво, зыбко, и имени этому не сыскать!

Безумие – имя этому, думаю, возможно – смерть, гибель... как кому по душе.

– Я не хочу быть здесь! – немного подумав, продолжает он. – Всё вступает в противоречие, всё восстаёт внутри, моё место – не здесь, знаю определённо! Я хочу уйти – факт! И, поразмыслив над этим, я пришёл к выводу, что... уйти – гм, проще сказать, чем сделать! – вернее, если начистоту, то невозможно. Дети не хотят перевозить меня отсюда, они уверены, мне здесь превосходно, для меня здесь – райские кущи. А сам я уйти, увы, не могу. И это не оттого, что будто бы я плохо хожу, не подумайте, просто-напросто меня что-то держит, нечто, что я не могу истолковать однозначно – едва подумая, как тяжелеет голова, давит виски. И вот я хочу поинтересоваться у вас...

Ну, довольно – решаю я! Шмидт, вдова Фальк... им изрядно икается уже, на том свете либо на этом – не пора ли оставить их в покое и, в самом деле, заняться собой?

– А разве вам здесь, в самом деле, худо? – донельзя прямой вопрос обрывает его мысль на самом излёте.

– Простите?

– Ну, что-то кардинально меняют в обстановке обычно, если присутствует недовольство, не так ли? Вы же любитель вопросов самому себе – задайтесь простыми вопросами, худо ли мне, профессору Сигварту, здесь, в «Вечной Радости» и если худо, то отчего?

Он выпаливает без раздумий:

– Разумеется, худо! О чём я вам и толкую!

Я, спокойно:

– Нет, Сигварт, вы ответили, не подумав, брякнули и всё... Вот по моему глубокому убеждению, вам, что бы вы теперь ни говорили, да и всем остальным, конечно же, здесь – истинное приволье; в этом доктор Стиг, никак не понимающий тех, кому не сидится в покое, разумеется, прав.

И Сигварту вновь приходится останавливаться и глазеть на меня в изумлении, с очевидным подчеркнутым непониманием.

– Мне... приволье? Да я... да знаете ли вы... – он быстро сникает, подсдувается, будто проколотый мячик, но, как кажется, это всего лишь кончился воздух в его лёгких. Пары глубоких вдохов достаточно, и вот уже, полный сил, он чуть ли не съесть меня готов: – А вам будто бы не худо?! Но мне казалось... Я слышал о вас, я видел... Ха-ха! Что это вы затеяли? Господи, да всем известно, что вы – человек непримиримый, что такое положение дел для вас – хуже смерти.

– Какое положение, позвольте полюбопытствовать? И отчего хуже смерти?

Сигварт в искреннем замешательстве:

– Положение затворника, заключённого... и именно хуже смерти – как может быть иначе?! Позвольте, а как же «Вечное Путешествие»? Как же: *«Может, Смерть будет лучшей отрадой, / Обречённому жить несвободой?..»*. Не ваши ли строки? А как же то, за что многие вами восхищались?

Я, с совершенно спокойным лицом:

– Ах, вот оно что... Ну, смерть не всегда ужаснее жизни, насыщенной событиями – вам ли не знать этого? А так, всю свою жизнь я таков – затворник, заключённый, ничего не изменилось. Правда ваша: бывало, мне удавалось совершить побег, забыться на время, но обстоятельства настигали прежде, чем я успевал вознести хвалу небесам, и в этом нет ничего необычного, так всегда бывает, скажу и больше – вся жизнь в этом...

– Нет, вы боролись, вы были иным, непохожим ни на кого, – с настойчивостью, присущей полностью уверенному в истинности своих слов человеку, обрывает меня Сигварт, пытаюсь направить мою мысль в нужное ему русло, – знаю наверняка, иначе быть бы вам заурадной личностью, вроде большинства из нас.

Лесть? Что ж, и забавно, и разгоняет тоску, но противоречит серьёзной беседе.

– Хм, оригинальным быть нынче в моде, – задумчиво отвечаю, – что в этом удивительного? Удивительней теперь, возможно, заурадность... Оригинальность – достоинство, и все, кому не лень, горазды теперь на всякие малозначительные глупости, могущие их прославить. Чем я, по сути, отличаюсь от прочих?

Мои слова неожиданны и повергают его в некоторую тягость, сродни замешательству. Он изрядно обдумывает их с лицом, покрасневшим от возбуждения, со вздрагивающими губами, будто ребенок, которого чем-то обидели.

– Я читал вас, этого достаточно... – находится, наконец.

Вот и ещё один местный поклонник талантов Лёкка!

– А вот господин капитан, вновь прибывший «весельчак» и балагур, – мрачно отзываюсь, – чем он не оригинал? Или же Фюлесанг, припомнивший ненадолго, как ходить в уборную безо всякой посторонней помощи?.. Представьте лишь: человек испытывает потребность казаться моложе собственной души, будто бы не ведая, что душа – бессмертна, и как же быть, в таком случае, моложе самого бессмертия. Как, спрашиваю я вас? Тень на полу – от стола ли, либо от живого существа – и та, куда ни глянь, всё дышит, размечтавшись жить своим разумением, словно бы не существует она единственно волей своего хозяина. Каждый мечтает жить, да не каждому под силу.

В ответ обида профессора переливается через край:

– Вот, – с горечью отвечает, глядя на меня осуждающе-непонятливо, – вы и попрекаете меня тем, что я посчитал вас нормальным человеком.

– Вы ошиблись – теперь вы это, надеюсь, понимаете? Не сыскать здесь людей «нормальных», лишь обрубки, половинки, с половинчатой жизнью, половинчатыми желаниями, кастрированным самолюбием... И я таков же – видите?

Его будто передёргивает, того и гляди переломит.

– Что ж, – его голос меняется, наливается грузной печалью, – рассказывайте всему свету о моих устремлениях! Давайте, я благословляю вас, и не кину камня...

– Ни в коем случае не попрекаю, и, разумеется, ни слова не вылетит из моих уст на сторону, но всё же вы говорите, что вам здесь худо, не объяснившись, а вместо этого выпытываете, худо ли мне. Не кажется вам, что в Лёкке должно было возникнуть больше подозрения к Сигварту, нежели наоборот? Объяснитесь, профессор! Мнение некоего, пусть бы и знаменитого некогда, Миккеля Лёкка, вряд ли должно вас волновать, но скажите на милость, разве вас здесь худо кормят, разве вам холодно или неудобно, разве вас, прости Господи, бьют здесь?

Безмолвен, тягостно хмурится – густые кустистые брови, кажется, грозятся совсем скрыть безнадежно запавшие глаза. Ясно, как день – профессор и не думал об этом, всё на уровне чувств, ощущений, чаяний! В один прекрасный день он просыпается и решает, что ему худо, худо и всё! И чем же он объясняет своё состояние? Болезнью, разочарованием, опустошением? Нет же, некими аллегорическими, мифологическими, даже экзистенциальными, причинами – вот уж действительно книжный червь, научная крыса! – всё способен объяснить воздействием солнечных ветров и космических бурь.

– Ах, сытый голодного не понимает! – горестно провозглашает он, воздев ладони к небесам. – Вы меня никак не хотите слышать, а понять и подавно – не можете.

– Ну, отчего же... Просто хочется ясности – как её, порой недостаёт! Что вам тут видится таким плохим? Ответьте? Не мне даже, себе... Любая причина уже созвучна со здравым смыслом! Назовите хоть что-то... Скрипят полы? Стены пропускают всякие звуки? – профессор горестно поводит косматой головой. – Нет? Что же, что же... – чешу безнадежно заросший подбородок. – Клопы в перине?! Но раз в месяц их регулярно травят перед Верб... то есть Родительским... Вы одиноки, быть может? Ну, так ведь кругом полным-полно дам и господ, с которыми возможно потолковать, вступить в спор, обсудить последние новости – всё, как вы любите – есть и сиделки, далеко не все из них столь же немногословны, как моя дорогая Фрида. А что до драгоценных родственников, так вы и с ними имеете возможность сноситься, хоть письмами, хоть посылками, да, кроме того, и Родительский День никто не отменял. Не возьму в толк, хоть убейте... А, доктор Сиг, быть может?! Он сквернословит или у него дурно пахнет изо рта, а вам, как человеку благовоспитанному, нелегко это вынести?..

Сигварт молчит, и только – хлоп, хлоп! – глазами.

– Я не могу этого объяснить, не могу и всё тут, – говорит он затем, – это внутреннее ощущение, оно вряд ли подвластно разуму.

– Вот как! Сами объяснить не можете, и хотите что-то услышать от меня... Что ж, я не так много внимания уделяю миру, как вы, и у меня имеется куча времени, чтобы размышлять, порой, я только этим и занимаюсь. Мне не в труд объяснить то, что вам объяснить словами кажется невозможным.

Сигварт краснеет, загодя смущаясь моим словам.

– Что ж, будьте любезны... – отвечает; в голосе явственно волнение.

Поднимаюсь, подхожу к окну – одной сигары мало, а здесь, под подоконником, знаю, припрятан старый окурочек на чёрный день. И хоть он уж вовсе иссох, да и день пока не чёрный, просто-напросто целую сигару курить не хочется, – запас уже близок к концу, – делать нечего, буду курить окурочек. Спичка шипит в пальцах – пламя, чавкая, медленно-медленно поедает щепу и, кажется, шепчет слова благодарности за, пусть короткую, но жизнь. Рука останавли-

вается, охвачена дрожью – вдруг думаю, как дорого бы дал за одну такую спичку в детстве, когда один заблудился в лесу и вынужден был провести ночь там в неудобстве. Это сейчас возможность вернуться в тот лес была бы счастливой грёзой, это теперь моя мысль, как бабочка, через времена стремится туда вместе со всеми моими тенями и призраками, это теперь я мог быть счастливым там, со спичкой или без... И как выходит – больше ценишь лишь то, чего утерять безвозвратно.

Да, ценишь лишь то, что никогда не вернётся!

– Простите, не расслышал? – слышу голос Сигварта откуда-то извне, со стороны.

Страхиваю оцепенение, будто пепел с сигары... Медленно избавляясь от нахлынувшего зуда воспоминаний, смотрю на высохшее лицо профессора, затем... вновь в окно, на затянутое серыми облаками северное небо. Думаю, что Шмидт, конечно же, мёртв, и отправился в последний путь в том ящике на рассвете, когда его видела госпожа Розенкранц; старуха Фальк – сошла с ума, к чему тут осторожничать, делать вид, будто они синхронно простудились, и теперь, по велению доктора, блюдут постельный режим, прихлёбывая чаёк и заедая его малиновым вареньем?! Какие могут быть новости, какие могут быть сюрпризы! Думаю и то, что все Сигвартовы томления, охота к перемене мест и прочее, связаны с процессом умирания... Да, он заживо разлагается, и продукты разложения отравляют его душу зловредными ядами беспокойства, свойственными ещё живому, пытливому организму, но по сути разрушительными, ибо они лишают его покоя.

Старая спичка выгорела, как та, прежняя жизнь, как жизнь вовсе, как сам человек; новая спичка в руках так же шипит, но... я не даю огню пожить, а запалю окуроч. Господи, за что мне это?! Вот сейчас я дам этому человеку откровение, но буду проклят за это, и им, и самим собой...

– Жизнь не балует нас смыслом, вот что! – невозмутимо выпускаю объёмистый клуб чада. – Рождение – смерть, точка! Между этим может быть многое, может быть насыщенность, но она не есть смысл; смысл, а вернее, подобие смысла – в движении от начала к концу, по восходящей, по параболе. Утверждай вы или кто-либо из других обратное, он был бы разбит в пух и прах, не мной, так самой этой бессмысленной жизнью. Она сама даёт нам понять, что бессмысленна, она говорит нам это, а мы всё одно твердим, как упрямые бараны, нет, мол, всё же не зря я сделал то, не зря сделал это, мне это всё зачтётся, и у меня будут... самое малое хорошие похороны. Ха-ха! – поворачиваюсь к нему. – Стоит ли так убиваться из-за пышных похорон?!

Сигвартова реакция неожиданна – крайнее смущение, у него даже заплетается язык:

– Похороны... об этом я думал бы в последнюю очередь...

...Тем более, о них есть кому похлопотать...

– Тем не менее, если вам куда и суждено отсюда отправиться, так только лишь в землю. Так же, как герру Шмидту в его уютном ящике для книг, так же, как и всем здесь... Это к вопросу о том, как худо тут живётся. Вы считаете, в земле будет легче, а? Что ж, выбирайте...

– Что, что вы несёте?! – в ужасном смятении хватается за голову. – Вы говорите это мне, живому человеку, пусть и... – запинается, – ...пожившему изрядно. Ни такта, ни обхождения, натуральный дикарь! Неужто, все русские такие, или того хуже, ведь я вас считал лучшим из них?

– Да, все, как один, жизнь заставляет, – дикари, азиаты, – да, мы все такие! Так вот, о ваших неудобствах... Главное неудобство в том, что вы не хотите признать того, что жизнь ваша, как совокупность мыслей, чувств и устремлений, теперь на исходе, и у вас нет надежд, которым дано осуществиться. Нет, надежды есть сами по себе, витают серыми тенями где-то у изголовья кровати, но – мертворождённые! Вы хотите покинуть это место, внутреннее убеждение подталкивает вас, однако, уверяю, что для таких, как вы, «уверенных в своём будущем», лучше этого места не сыскать. Подумайте: спокойно и тихо, как в раю, доктор и сиделки здесь,

а родственники – там, поют на ухо, что вы бодры и здоровы, что вы тут отдыхаете, о том, как много у вас всего впереди – лежи себе да помирай! Не могу понять, откровенно говоря, всех этих ваших ощущений, и не могу взять в толк, зачем вам уходить отсюда – помирайте здесь (тем более, что смерть – неизбежна!), здесь вовсе не так уж плохо, есть всё для более-менее спокойного отхода в мир иной, и даже сверх того...

Бледнеет, трясётся, исходит слюной.

– Нет, нет, я не умираю, слышите вы, не умираю!

Я, спокойно:

– ...Вы тут обмолвились о каком-то будущем в этих либо в каких иных стенах... Смешно, профессор, по меньшей мере. Всё же, я далёк оттого, чтобы подозревать кого-то в скудоумии, ведь во мне самом горит это гибельное синее пламя, застывшее, бывает, глаза, и преломляющее дневной свет так, что и не узнать. Вместо того, я принимаю всё это как шутку, и поднимаю на смех, да, на смех!

Профессор Сигварт, дрожа всем телом:

– Нечему радоваться тут, я не предполагал шутить...

Забава становится томительной, и даже дурман никотина, разбавленный таблетками, не оберегает разум от помутнения и глупости – бывает, я хотел бы на миг стать одним из тех, кто регулярно и подолгу беседует с доктором Стигом, выражая искреннюю радость по поводу явных тенденций к улучшению своего состояния. Случись так, то, быть может, у нас было бы куда больше тем для разговоров с Сигвартом, и куда больше поводов ходить друг к другу в гости. Но теперь, видя ничтожество собеседника, святое ничтожество, с удовлетворением гоню от себя такие странные иллюзии – вот ещё! – к чему это добровольно обрастать корявыми струпьями, точно заражённый гусеницей ствол? И, поддавшись на временную слабость – да, я полагаю откровенность не к месту и не ко времени слабостью! – говорю прямо и грубо:

– К чёрту всё это, господин профессор! Смахивайте пыль, стряхивайте пепел: нет у нас будущего, нет, и не может быть, нигде, ни здесь, ни в другом месте; украсить бы хоть как-нибудь настоящее – забот полон рот... Ящик с книгами – вот будущее!

А он садится на стул, закрывает глаза руками и долго трёт их, точно думает, будто всё, что он видит кругом, не относится к нему и, потеряв глаза, сумеет он избавиться от наваждения. В воцарившейся тишине, прерываемой изредка лишь звоном склянок, какими-то голосами, и отзвуками шагов по мрамору лестницы, слышу, как он плачет.

– Но вы же... вы же... бунтарь... – голос из ладоней, прерываемый всхлипываниями, глухой и, кажется, будто уже сам по себе, помимо него, отцвёл, облетел, отжил своё – Если б знать, если б знать! – выглядывает из пальцев красными, как закат, глазами. – Всё же, вы непримиримы – полагай я обратное, никогда бы не пришёл сюда...

– Так вот знайте ж, – окончательно суровею, – бунтарь сей оставил Родину, опасаясь бунтовать, да вообще струсив, полный предубеждений, бежал так, что сверкали пятки, тогда как многие друзья его расстались с жизнями за свои убеждения...

– Нет, нет...

Мой голос искажается болью и мукой:

– Увы! Что ж, я никого не звал и никого не ждал...

Тишина. Гость так и плачет; ошарашенный собственными словами, выпадает Лёкк из уверенности в замешательство.

«...И вот слезы угнетённых, а утешителя у них нет...» – является вдруг Екклесиаст во всей своей славе; и ныне всё, как на исповеди, один в один, вот только наоборот, и святой является к грешнику каяться в своей святости. Что ж поделать? Но это тот случай, когда отпустить грехи нет никакой возможности, а всё оттого, что никаких грехов нет и в помине – можно разве заблуждения держать за грех?! – а святость... Что святость? Вещь в себе, дарованная

свыше, копьё сотника, пронзившее плоть, крест, в каком-то роде, чаша, что нужно испытать до дна, как страдание...

Но слёзы трогают – не могу облегчить страдания души и досаду сердца, но решаю поделиться сокровенным, тем, что, как мне кажется, знаю лишь я один; хочу, чтобы это чуть согрело его сердце.

– Профессор, слышали вы о белой лодке?

Не отвечает – лишь узкие впалые плечи вздрагивают.

– Есть здесь тайное место, – продолжаю, – прямо здесь в скалах, во фьорде, стоит при-
вязанной белая лодка. Шмидт не пропал, не умер, представьте себе, он уплыл на этой самой
белой лодке... Конечно, вы правы – никто из нас не умирает и не умрёт никогда – как можно! –
мы просто-напросто уходим прочь от берега на вёслах и под парусами.

Поднимает на меня багровые глаза, но опять молчит.

На моём лице ни тени сарказма, оно непроницаемо.

– ...Быть может, и вам уплыть на ней?

Ни слова в ответ и я отступаю, смятенный.

Наш разговор не приводит ни к чему, наоборот, своими суждениями я, скорее всего, наживаю себе врага. Я не поддержал его, где-то съязвил... Чёрт возьми, но ведь я всего лишь говорил правду, всё, что у меня на душе, какая бы она ни была! Я полагал, что человеку не след говорить самое плохое, но всё же не Стик – моё имя, и не получаю денег за издевательства над мертворождёнными надеждами. Не умираете, так не умираете, бог с вами!

Велико было удивление, когда на следующий день Сигварт приветствует меня со всей любезностью, на которую только способен, словно бы и не было этого нашего разговора, словно бы не орошал он своими слезами пол в моей комнате. И мы перекидываемся с ним парой малозначительных фраз, обычных для встречи людей, часто видящихся и давным-давно знакомых, друзей, одним словом. Кажется, в нём нет и малой толики обиды от моих слов, он ведёт себя непринужденно, как ни в чём ни бывало, и даже чересчур расположен ко мне, крепко жмёт мне руку, предлагает несколько вопросов к обсуждению в кают-компании за чашечкой кофе. Я скупо отговариваюсь отсутствием настроения и... Тут я немного замялся.

– ...Времени, – улыбаясь, подсказывает он мне, – Что ж, и у меня есть такая проблема.

Напряжённость тут же улетучивается: чего-чего, а уж времени-то у нас в избытке, в таком избытке, что аж и не знаешь, чем занять. И тут мы уславливаемся, невзирая на обстоятельства, встречаться каждый день, обмениваться мнениями по любым вопросам, поддерживать друг друга, быть в союзе, и не таить обид, что бы ни случилось.

Рождается невольное ощущение сюрреалистичности происходящего, но мне любопытно отставить его на второй план – гипертрофированное профессорское донкихотство пленяет, побуждает взглянуть на мир под другим углом, ибо в суждениях он почти всегда резок и прямолинеен, но вместе с тем ребячески наивен. Противоречиво: будто бы заходишь в воду по колено, и видишь течение сильное, и водовороты, и омуты кое-где, а тебе хоть бы хны, и ты ощущаешь спокойствие, возведённое в абсолют, а подчас и любопытство – насколько твоя сила против стихий велика. Постепенно я начинал привыкать к такому обороту событий, когда от любого из находящихся здесь, можно ожидать всего, что угодно, но прежде это совсем не трогало меня. Смерть Шмидта была толчком, что-то надорвала в моей стройности, я, столь невозмутимый прежде, думаю о том, что сам где-то виновен в этом, несмотря на то даже, что он, разумеется, и без того был не жилец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.